

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Другие книги серии «История тринадцати»

Приятного чтения!

Оноре де Бальзак
Феррагус, предводитель деворантов
(История тринадцати — 1)

Предисловие

Во времена Империи нашлось в Париже тринадцать человек, одержимых одним и тем же чувством, наделённых достаточно большой энергией, чтобы сохранять верность общему замыслу; достаточно честных, чтобы друг друга не предавать даже тогда, когда интересы их столкнутся; достаточно ловких, чтобы скрывать священные узы, соединяющие их; достаточно сильных, чтобы ставить себя превыше законов; достаточно смелых, чтобы идти на все, и достаточно удачливых, чтобы почти всегда преуспевать в своих планах, умевших молчать о своих поражениях, подвергаясь величайшим опасностям; недоступных страху, не знающих смущения ни перед монархом, ни перед палачом, ни перед невинностью; принявших друг друга такими, каковы они есть, не считаясь с социальными предрассудками; безусловно преступных, однако, несомненно, наделённых некоторыми чертами, которые создают великих деятелей, и, во всяком случае, принадлежащих к числу выдающихся людей. Наконец, надо упомянуть обстоятельство, довершающее мрачную и таинственную поэзию этой истории: все тринадцать остались неизвестны, хотя и добивались осуществления самых диковинных фантазий, порождаемых лишь тем необычайным могуществом, какое вымысел приписывает Манфредам, Фаустам, Мельмотам, — и ныне все они сокрушены, — по крайней мере союз их распался. Они спокойно вернулись под иго гражданских законов, подобно тому, как Морган, этот пиратский Ахилл, стал из грабителя мирным колонистом и без угрызений совести, при свете домашнего очага пускал в ход свои миллионы, добытые в крови, при зареве пожаров.

После смерти Наполеона случай, о котором автор пока должен умолчать, расторг узы этого тайного сообщничества, история которого, пожалуй, не менее любопытна и мрачна, чем самые чёрные романы г-жи Радклиф.

Один из тринадцати безвестных героев, таинственно подчинявших себе все общество, лишь недавно — быть может, почувствовав смутное желание прославиться — разрешил автору, вопреки ожиданию, рассказать, как ему заблагорассудится, о некоторых приключениях этих людей, соблюдая, разумеется, необходимые предосторожности.

Этот человек, ещё молодой с виду, белокурый и синеглазый, обладал нежным и звонким голосом, казалось, говорившим о женственно мягкой душе, был бледен лицом и загадочен в поведении, но приятен в разговоре; ему было, как он утверждал, всего сорок лет, и, судя по всему, он мог принадлежать к самым высшим кругам общества. Имя, под которым он жил, казалось вымышленным, в светском обществе его никто не знал. Кто был он? — неизвестно.

Быть может, поверяя автору необычайные происшествия, незнакомец рассчитывал, что они будут преданы огласке, и желал насладиться впечатлением, произведённым ими на толпу, — чувство, сходное с тем, что волновало Макферсона, когда сотворённого им Оссиана стали поминать на всех языках. И несомненно, шотландский адвокат испытал одно из самых острых или по меньшей мере самых редких ощущений, доступных человеку. Гений — инкогнито! Создать «Путешествие из Парижа в Иерусалим» — значит получить свою

долю в человеческой славе своего века; но подарить отчизне Гомера — не значит ли это похитить славу самого Бога?

Автор слишком хорошо знает законы повествования, чтобы не понимать, какие обязательства накладывает на него это краткое предисловие; но он достаточно изучил «Историю тринадцати», чтобы не бояться разочаровать читателя. Автору были поверены драмы, где льётся кровь, комедии, где творятся ужасные дела, романы, где скатываются головы, отсечённые тайными убийцами. Если кто-либо из читателей ещё не пресытился ужасами, которые за последнее время вошло в обычай хладнокровно преподносить публике, то стоит им лишь пожелать — и автор мог бы поведать о спокойно содеянных жестокостях, о необычайных семейных трагедиях. Но на этих страницах отдано предпочтение наиболее трогательным эпизодам, в которых с бурей страстей чередуются целомудренные сцены, а женщина сияет добродетелью и красотой. К чести тринадцати надо сказать, что подобные приключения не чужды их истории, которую, быть может, в один прекрасный день сочтут достойной внимания наравне с историей флибустьеров, этого своеобразного буйного племени, полного поразительной энергии и столь привлекательного, несмотря на все свои преступления.

Когда писатель повествует об истинных происшествиях, он не должен превращать свой рассказ в игрушку с сюрпризом и — на манер некоторых романистов — на протяжении четырех томов водить читателя из подземелья в подземелье, дабы показать ему какой-нибудь иссохший труп, а в заключение признаться, что он все время только пугал потайными дверями, скрытыми под обоями, или мертвецами, оставленными по недосмотру под половицами. Несмотря на все своё отвращение к предисловиям, автор вынужден был предпослать эти строки публикуемому отрывку. «Феррагус» — первый эпизод, связанный незримыми нитями с историей тринадцати, могущество которых, по существу совершенно естественное, является единственным объяснением некоторых обстоятельств, на первый взгляд сверхъестественных. Хотя рассказчикам и разрешается известное литературное кокетство, но, становясь историками, они должны пренебречь выгодами, предоставляемыми каким-нибудь причудливым заглавием, которое обеспечивает в наши дни лёгкий успех. Поэтому автор кратко объяснит здесь причины, побудившие его избрать заголовки, на первый взгляд странные.

Феррагус — одно из имён, принимаемых, согласно древнему обычаю, предводителями деворантов. В день своего избрания новый предводитель становится преемником имени того из вождей, кто приходится ему больше по сердцу, подобно тому, как папа, вступая на престол, принимает имя одного из своих предшественников. Так, у деворантов встречаются Макай-Хлеб IX, Феррагус XXII, Тутанус XIII, Грызи-Железо IV, точно так же как у церкви — Климент XIV, Григорий IX, Юлий II, Александр VI и пр. А теперь выясним, кто же такие эти деворанты. Деворанты — название одной из общин подмастерьев, подчинённой некогда великому мистическому содружеству, организованному христианами-ремесленниками с целью восстановления иерусалимского храма. Товарищества ремесленников и по сию пору распространены во Франции среди народа. Такие традиции, властвующие над тёмными умами и над людьми малообразованными, а потому не осмеливающимися нарушить клятву, могли бы служить для осуществления гигантских предприятий, если бы какой-нибудь грубый гений решил подчинить себе эти разнообразные сообщества. В самом деле, он нашёл бы в них слепые орудия. С незапамятных времён для подмастерьев подобных товариществ в каждом городе существует обада, своего рода пристанище, которое содержит мать — старуха полуцыганского склада, бобылка; она знает обо всем, что творится в округе, и не то из страха, не то по закоренелой привычке предана общине, предоставляет ей кров и стол. Словом, эти люди, непостоянные в своём составе, но подчинённые непреложным обычаям, могут повсюду иметь свой глаз и везде приводить в исполнение чью-то волю, не обсуждая её, ибо и самые старшие из них находятся в том возрасте, когда ещё чему-то верят. Впрочем, организация в целом исповедует достаточно правильное, полное таинственности учение, которое при известном развитии способно патриотически воодушевлять всех своих

последователей. Притом подмастерья содружеств привержены своим законам столь страстно, что из-за каких-либо несогласий в важных вопросах нередко дело доходит до кровавых столкновений. К счастью для современного общественного порядка, честолюбие деворанта сказывается только в том, что он строит дома, наживает состояние и тогда выходит из содружества. Много любопытного можно было бы рассказать о Содружестве долга, соперниках Содружества деворантов, и о разных других сектах ремесленников, о принятых там обычаях, о братстве, связывающем их членов, об отношениях между ними и франкмасонами, но здесь подробности эти были бы неуместны. Автор должен только прибавить, что во времена старой монархии, случалось, какой-нибудь Макай-Хлеб попадал на королевскую службу — на галеры, сроком на сто один год; но и оттуда продолжал управлять общиной, благоговейно внемлющей его советам; если же ему удавалось бежать с каторги, он твёрдо знал, что повсюду встретит помощь, содействие и уважение. Ссылка предводителя на галеры означала для верной ему общины лишь несчастье, ниспосланное провидением, но она не освобождала деворантов от повиновения его власти, созданной ими самими и непререкаемой для них. Это только временное изгнание их короля, остающегося законным королём при всех обстоятельствах. Вот секрет романического обаяния, каким обладали имена Феррагуса и деворантов, — обаяния, ныне уже исчезнувшего.

В отношении тринадцати автор чувствует себя во всеоружии, опираясь на их подробнейшую историю, столь напоминающую роман, и поэтому отказывается от приятнейшего права романистов, высоко оцениваемого на литературном торгу, — навязывать читающей публике многотомное произведение по примеру Современницы. Все тринадцать были люди того же закала, что и Трелони, друг Байрона и, как говорят, оригинал его Корсара; все они были фаталисты, смелые и поэтические, но наскучившие обыденной жизнью, жаждущие азиатских наслаждений, влекомые страстями, долго дремавшими в их душе, а потому особенно буйными. Как-то один из них, перечитав «Спасённую Венецию» и восхитившись великой дружбой Пьера и Джафьера, задумался об исключительных качествах людей, изгнанных из общества, о честности каторжников, о верности воров в отношении друг к другу, о преимуществах той непомерной власти, какую завоёвывают подобные люди, сосредоточив все помыслы свои на едином желании. Он создал себе и образ человека, возвысившегося над людьми. Он решил, что все общество должно подчиниться власти тех избранников, у которых природный ум, образование и богатство сочетались с огненным фанатизмом, способным превратить в единый сплав все эти разнородные свойства. И вот тогда перед их тайной властью, безмерной в своей действенности и силе, общественный строй оказался бы беззащитным; она опрокидывала бы все препятствия, громила бы на своём пути любое сопротивление; каждый из таких избранников силён был бы дьявольской силой всего содружества. Это особое общество в обществе, враждебное обществу, отрицающее все идеи общества, не признающее никаких законов, подчиняющееся только голосу своих нужд, только требованиям взаимной преданности, отдающее все свои силы одному из сообщников, когда тот обратится за содействием ко всем остальным; эта жизнь флибустьеров в жёлтых перчатках, флибустьеров, разъезжающих в каретах; это тесное сообщничество выдающихся людей, холодных и насмешливых, расточающих улыбки и проклятия лживому и мелочному свету; уверенность, что все подчинится их прихоти, что месть их будет ловко осуществлена, что каждый из них живёт в тринадцати сердцах; затем это постоянное блаженство — в присутствии посторонних людей владеть тайной своей ненависти; блаженство быть всегда перед ними во всеоружии, блаженство замкнуться в себе, сознавать себя богаче всех самых замечательных людей, не возвысившихся до твоей идеи, — эта религия наслаждения и эгоизма воодушевляла тринадцать человек, которые восстановили орден иезуитов на потребу дьяволу. Это было ужасно и величественно. И вот договор был заключён, и он существовал именно в силу своей немыслимости. Итак, в Париже появились тринадцать братьев, которые, принадлежа друг другу душой и телом, встречались на людях как чужие, но по вечерам сходились вместе как заговорщики, не скрывая друг от друга ни единой мысли и пользуясь по мере надобности все новыми и новыми богатствами, подобными богатствам Старца с

Горы; их принимали во всех светских гостиных, они запускали руки во все денежные ящики, слонялись по всем улицам, спали во всех постелях и без зазрения совести все подчиняли своей прихоти. У них не было жоака, никто среди них не мог захватить власть в свои руки; но тому, кто сильнее других был охвачен какой-либо страстью, кто больше других нуждался в содействии, служили все остальные. То были тринадцать неведомых миру, однако подлинных властелинов, более могущественных, чем короли, — ибо они сами были и судьями и палачами, они сотворили себе крылья и проникали во все слои общества сверху донизу, пренебрегая возможностью занять в нем какое-либо положение: и без того все было им подвластно. Если автор узнает о причинах отречения их от своей власти, он расскажет об этом.

Теперь можно приступить к изложению трех эпизодов этой истории, особенно пленивших автора чисто парижским ароматом своих деталей и резкостью контрастов.

Париж, 1831

Посвящается Гектору Берлиозу

Феррагус, предводитель деворантов

Есть в Париже улицы, опозоренные так, как может быть опозорен человек, совершивший подлость; встречаются и улицы благородные, и просто честные улицы, и молодые улицы, о нравственности которых у общества еще не сложилось мнение; злодейские улицы; улицы старые, как самые древние старухи; улицы почтенные; улицы неизменно чистые или неизменно грязные; улицы рабочие, трудовые, торгашеские. Словом, парижские улицы отличаются человеческими свойствами и одним видом своим возбуждают в нас известные представления, которые мы не в силах преодолеть. Есть непристойные улицы, где вы не согласились бы жить, и улицы, где вы охотно поселились бы. Некоторые улицы, взять хотя бы Монмартр, подобны сирене: прекрасная голова — и рыбий хвост. Улица Мира — широкая улица, большая улица, но она не пробуждает возвышенно-благородных мыслей, какие охватывают впечатлительную душу посреди Королевской улицы, и ей недостает величия, господствующего на Вандомской площади. Если при прогулке по улицам острова Сен-Луи вас охватит какая-то печаль и тревога, знайте — виной тому лишь одиночество да угрюмый вид домов и заустелых особняков. Этот остров — останки мира откупщиков — может быть назван парижской Венецией. Площадь Биржи шумлива, деятельна, продажна; она хороша лишь при лунном свете, в два часа ночи; днем она — Париж в миниатюре, ночью — словно мечта о Греции. А разве улица Траверсьер-Сент-Оноре — не гнусная улица? Там вы увидите жалкие домишки в два окна шириною, и в каждом этаже гнездится порок, преступление и нищета. А улочки, обращенные на север, куда солнце заглядывает лишь три-четыре раза в год, — это улицы-преступники, безнаказанно убивающие людей; нашему правосудию нет до них никакого дела; но в старые времена парламент, возможно, и обратился бы *сего ради* с порицанием к полицейскому чину или хотя бы вынес осуждение самой улице, как некогда парикам капитула Бовэ. Как бы то ни было, г-н Бенуатон де Шатонеф доказал, что смертность здесь в два раза больше, чем в других кварталах. Чтобы завершить это рассуждение примером, возьмем улицу Фроманто: разве не гнездятся в ней убийства и порок? Такие наблюдения, непонятные вдали от Парижа, бесспорно, будут оценены теми образованными, мыслящими людьми, любителями поэзии и наслаждений, которые, бродя по Парижу в пределах городских стен, ловят на лету в любое время дня и ночи быстротечные его радости, — всеми теми, для кого Париж является самым обольстительным чудовищем:

сейчас он — очаровательная женщина, мгновение — и он нищий старик; здесь он сверкает, как новенькая монета, выпущенная новым королем, там он — элегантен, как светская дама. Притом у этого чудовища все — как у настоящего живого существа. Его чердаки — это мозг, блестящий знанием и талантом; вторые этажи — сытый желудок; лавки в нижних этажах — настоящие ноги, здесь толпятся гуляющие и люди деловые. А какая кипучая жизнь у этого чудовища! Едва затихает в его сердце последний стук последней кареты, увозящей кого-то с бала, как его руки уже приходят в движение на заставах, и чудовище медленно пробуждается. Двери зевают, поворачиваются на петлях, словно клешни огромного омара, незримо управляемые тридцатью тысячами мужчин и женщин, живущих на шести квадратных футах каждый, причем здесь у них кухня, мастерская, кровать, дети, сад; здесь темно, плохо видно, а между тем надо за всем углядеть. Вот начинают слегка похрустывать суставы, движение нарастает, улица обретает голос. В полдень все живет полной жизнью, трубы дымятся, чудовище насыщается; потом оно рычит, тысячи его лап приходят в движение. Прекрасное зрелище! И все-таки, о Париж, тот, кто не восхищался твоими мрачными пейзажами, проблесками света, безмолвными глухими тупиками, тот, кто не внимал твоему рокоту между полуночью и двумя часами ночи, — тот и понятия не имеет ни о твоей подлинной поэзии, ни о твоих страшных, разительных противоречиях. Есть небольшое число любителей, людей, которые никогда не мчатся по улицам сломя голову, а смакуют свой Париж, в совершенстве знают его физиономию и замечают на ней малейшую бородавку, пятнышко, прыщик. Прочим Париж всегда кажется нелепой громадой, поразительным сочетанием движений, машин, мыслей, городом ста тысяч романов, главой мира. Для прочих Париж бывает грустным или веселым, уродливым или красивым, живым или мертвым, а для этих немногих Париж — живое создание, каждый человек в нем, каждая песчинка — клетка тела великой куртизанки, чей ум, сердце и необычайный нрав они в совершенстве изучили. Да, все они — любовники Парижа. Дойдя до угла какой-нибудь улицы, они уже поднимают голову, зная наперед, что увидят там часы; они говорят приятелю, у которого опустела табакерка: «Заверни в переулок, там есть табачная лавочка — налево, рядом с кондитером, который женат на хорошенькой». Бродить по Парижу для этих поэтов — истинное удовольствие. Как не потратить несколько минут на созерцание драм, бедствий, лиц, живописных происшествий, которые осаждают вас на улицах этой вечно оживлённой царицы городов, разодетой в афиши и все же не имеющей ни одного чистого уголка, до того она приспособилась к порокам французской нации! Кому не случалось выйти из дому утром, спеша на окраину Парижа, — и до полудня не иметь сил расстаться с центром? Любители Парижа извинят подобное бродяжничество с раннего утра, которое все же приводит к наблюдениям в высшей степени полезным и новым, если только можно делать новые наблюдения в Париже, где нет ничего нового: ведь даже на статуе, поставленной только вчера, уличный мальчишка уже успел нацарапать своё имя! Да, в Париже есть улицы, закоулки, дома, большей частью неизвестные представителям высшего света, где светская женщина не могла бы показаться, не возбудив самых оскорбительных для "неё" предположений. Если эта женщина богата и обычно разъезжает в карете, а её встретят в одном из подобных ущелий парижских краёв идущей пешком или переодетой, то её репутация порядочной женщины сильно пострадает. Если же какой-нибудь посторонний наблюдатель увидит там светскую женщину в девять часов вечера, то он придёт к самым ужасным для неё выводам. Наконец, если она молода и хороша собой и вдруг войдёт в дом на подобной улице, вступит под своды длинного, тёмного прохода, сырого и смрадного; если в глубине его забрезжит слабый свет лампы и при этом свете покажется ужасное лицо какой-то старухи со скрюченными пальцами, — то поистине, скажем прямо, в предостережение молодым и красивым женщинам, такая женщина уже погибла. Она окажется во власти любого знакомого мужчины, встретившего её в этом парижском болоте. Но в Париже есть улица, где подобная встреча может кончиться страшной, потрясающей драмой, полной крови и любви, драмой в духе современной литературной школы. К несчастью, драматизм подобного рода, как и сама современная драма, мало кому понятен;

очень прискорбно, что приходится рассказывать такую историю тем, кто не способен оценить её местный колорит. Но кто может похвастать тем, что его когда-либо поняли? Все мы умираем непонятыми. Так утверждают женщины и писатели.

В начале февраля, лет тринадцать назад, в те времена, когда на улице Пажвен нельзя было найти стены без какой-нибудь непотребной надписи, один молодой человек забрёл туда пешком по случайному стечению обстоятельств, которое не повторяется дважды в жизни, и огибал угловой дом по правой стороне, чтобы свернуть на улицу Старых августинцев, ведущую к совершенно пустынной улице Соли, самой узкой и самой ухабистой изо всех парижских улиц даже в наиболее людной части своей. И вот — это было в девятом часу вечера — молодой человек, проживавший сам на улице Бурбон, заметил, что женщина, неподалёку от которой он совершенно беззаботно шёл, чем-то напоминает красивейшую женщину Парижа, скромную и очаровательную особу, в которую он был тайно влюблён — влюблён страстно, но безнадежно: она была замужем. У него заняло дух, нестерпимый жар вспыхнул в груди и разлился по жилам, по спине пробежали мурашки, и он почувствовал, как на голове у него поднимаются волосы. Он любил; он был молод; он знал Париж и был достаточно опытен, чтобы понимать, какой позор грозил молодой и богатой женщине, красивой и изящной, опасно, как преступница, пробирающейся по этим местам. Она на этой гнусной улице, и в такой час! Любовь, которую питал молодой человек к этой женщине, может показаться на редкость романической, тем более что он был офицером королевской гвардии. Будь он ещё пехотинец, было бы понятно; но как старший кавалерийский офицер он принадлежал к тому роду французского воинства, которое избаловано лёгкими победами и тешит своё тщеславие любовными похождениями, как и блестящим мундиром. Однако страсть этого офицера была истинной, и многим юным сердцам она показалась бы великой. Он любил эту женщину за то, что она была чиста душою, он любил в ней именно её добродетель, целомудренную грацию, величавую святость — самое дорогое сокровище для его затаённой страсти. Эта женщина действительно была достойна внушить платоническую любовь, какая встречается в средние века, словно цветок среди окровавленных развалин; достойна стать тайным источником вдохновения для молодого человека во всех делах его; то была любовь, столь же высокая и чистая, как синева небес; любовь без надежд, которой дорожат, ибо она-то уж не обманет; любовь, дарящая безудержные восторги, особенно в том возрасте, когда сердце пылко, воображение остро и когда у мужчины такой зоркий глаз.

В Париже можно иногда видеть причудливую, странную, непостижимую игру ночных теней — только тот, кто развлекался подобными наблюдениями, знает, какой фантастической становится женщина в сумерках. Вдруг существо, за которым вы случайно или преднамеренно идёте, привлечёт ваше внимание своим гибким станом; мелькнувший чулок, если он очень бел, создаст представление о стройной, изящной ножке; а порою возникшая из темноты женская фигура, хотя и скрытая шалью или шубкой, поразит своими молодыми и сладострастными очертаниями; неверный свет лавки или уличного фонаря придаст незнакомке мимолётную, почти всегда обманчивую прелесть, воспламенит воображение, унесёт душу за пределы действительности. Чувства кипят, все вокруг становится ярким и живым; женщина принимает новый облик; тело её исполняется необычайной красоты; мгновениями кажется — это не женщина, это демон, блуждающий огонёк, влекущий вас жгучим магнетизмом, — но вот вы дойдёте наконец до какого-нибудь скромного дома, а тогда бедная мешаночка, испуганная вашим настойчивым преследованием и громким стуком ваших сапог, даже не оглянувшись, захлопнет перед вашим носом дверь...

Мерцающий свет, отбрасываемый стеклянной дверью какой-то сапожной мастерской, внезапно осветил фигуру женщины, шедшей впереди молодого человека, и обрисовал изящную линию её бёдер. Ах, конечно, только у неё одной так красиво выгнут стан! Ей одной лишь доступна тайна этой целомудренной походки, невинно подчёркивающей красоту самых обольстительных форм. Да, это её шаль, её бархатная шляпа. Ни пятнышка на серых шёлковых чулках, ни следа грязных брызг на ботинках. Шаль плотно облегла грудь, смутно обрисовывая пленительные очертания тела, — а молодой человек видел на балу её белые

плечи и знал о сокровищах, сокрытых шалью. По тому, как парижанка накинет шаль, по самой поступи женщины сообразительный человек отгадает цель её таинственной прогулки. Во всей фигуре и походке чувствуется тогда что-то трепетное, воздушное: женщина становится как бы невесомой, она идёт, или, вернее, стремительно пронесется, как пронесется падающая звезда по небесному своду, она летит, увлекаемая замыслом, который чувствуется в каждой складке, в каждом извиве её платья. Молодой человек ускорил шаг, обогнал женщину и обернулся, чтобы взглянуть на неё. Увы! она уже скрылась в доме, за решётчатой дверью с колокольчиком, которая хлопнула и звякнула. Молодой человек отошёл и увидел, как женщина стала подниматься по лестнице в глубине коридора, ступеньки которой были ярко освещены внизу; шла она легко и поспешно, словно охваченная нетерпением.

«Чем объяснить её нетерпение?» — подумал молодой человек, отступив на противоположную сторону улицы и прижавшись к какой-то стене. Несчастный внимательно оглядел все этажи дома, как будто был полицейским агентом и разыскивал заговорщика.

Таких домов в Париже тысячи: отвратительное, вульгарное, вытянутое в высоту пятиэтажное здание шириной в три окна, желтовато-бурого цвета. Лавчонку и помещение над ней снимал сапожник. Ставни второго этажа были закрыты. Куда прошла дама? Молодому человеку показалось, что он слышал дребезжание колокольчика в квартире третьего этажа. И действительно, в одной из комнат третьего этажа с двумя ярко освещёнными окнами свет задрожал и исчез; зато вдруг осветилось соседнее окно, до тех пор тёмное, — из чего можно было сделать вывод, что там была другая комната, вероятно, столовая или гостиная. Тотчас смутно обозначились очертания дамской шляпы, дверь затворилась, и вот комната опять погрузилась в темноту, а в двух соседних окнах снова показался красноватый свет. Но тут молодому человеку крикнули: «Берегись!» — и ударили чем-то в плечо.

— Чего зазевались? — раздался грубый голос.

Голос принадлежал мастерскому, нёсшему на плече длинную доску. Мастерской прошёл дальше. Этот человек был, казалось, послан самим провидением, чтобы сказать любопытному: «А тебе что тут надо? Знай свою службу и не вмешивайся в делишки парижан».

Молодой человек скрестил на груди руки; чувствуя себя скрытым от посторонних взоров, он дал волю гневным слезам, они катились по щекам его, и он даже не утирал их. Наконец ему стало так больно при виде движущихся теней в двух освещённых окнах, что он отвёл глаза и, случайно взглянув вдоль улицы Старых августинцев, заметил фиакр, стоявший у стены, где не было видно ни подъезда, ни света от лавки.

«Она это или не она?» Вопрос жизни и смерти для влюблённого. И этот влюблённый ждал. Он простоял там целую вечность, длившуюся двадцать минут. Но вот женщина вышла, и он узнал ту, которую тайно любил. И все ещё он не хотел верить себе. Незнакомка направилась к фиакру и села в него.

«Дом останется на месте, я и потом успею там все высмотреть», — решил молодой человек и бегом пустился за экипажем, чтобы рассеять последние сомнения, — от них скоро не осталось и следа.

Фиакр остановился на улице Ришелье, у модного магазина около улицы Менар. Дама вошла в магазин, выслала деньги кучеру, а сама стала выбирать перья марабу. Перья к её чёрным волосам! Вот она приложила несколько штук к голове, чтобы судить о впечатлении. Офицеру казалось, что он улавливает её разговор с продавщицей.

— Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссиановское, безусловно хорошего тона.

— Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Затем дама вышла из магазина и поспешно свернула на улицу Менар, где был её особняк. Когда за ней закрылись двери, молодой влюблённый, потеряв все надежды и —

горше всего! — веру в самое дорогое, что у него было, словно пьяный, побрёл по Парижу и сам не заметил, как оказался дома. Он бросился в кресло, сжал руками виски и вытянул ноги на решётку камина, подсушивая и даже подпаливая при этом свои промокшие сапоги. То была страшная минута, одна из тех в жизни, когда меняется характер и дальнейшее поведение даже самого лучшего человека зависит от первого предпринятого им шага. Провидение это или судьба — называйте как хотите.

Молодой человек принадлежал к хорошей дворянской семье, впрочем, не особенно древнего происхождения; но нынче так мало осталось поистине древних родов, что все молодые люди снисходительно причисляются к старинной знати. Прадед его купил должность советника парижского парламента, где и получил потом звание президента. Сыновья его, все до одного наделенные хорошим состоянием, заняли служебные должности и благодаря связям были приняты при дворе. Революция разметала всю семью; осталась только упрямая старая вдова, не пожелавшая эмигрировать, она побывала в тюрьме, едва избежала казни, была спасена 9 термидора и вернула себе все богатства. Около 1804 года, дождавшись благоприятного времени, она вызвала к себе внука — Огюста де Моленкура, единственного отпрыска, оставшегося от рода Шарбо-нон де Моленкуров, и воспитала его, окружив тройной заботой — матери, дворянки и упрямой старухи. А в годы Реставрации молодой человек, восемнадцати лет от роду, вступил в Мезон-Руж, сопровождал королевское семейство в Гент, получил назначение офицером в лейб-гвардию, перешел в армию, снова был назначен в гвардию, где в двадцать три года командовал эскадром кавалерийского полка, — блестящее положение, которым он был обязан бабке, прекрасно умевшей устраивать дела, несмотря на свой преклонный возраст. Эта двойная биография, не считая некоторых отступлений, является как бы кратким изложением общей и частной истории всех эмигрантских семейств, у которых были долги и земли, бездетные вдовы и житейская сметка. У баронессы де Моленкур был друг — старый видам де Памье, в прошлом — командор Мальтийского ордена. Ее дружбу с видамом — один из образцов вечной дружбы, — скрепленную шестидесятилетней давностью, ничто уже не в силах было поколебать, ибо в основе такой близости всегда скрыта тайна человеческого сердца, увлекательная, когда располагаешь временем, чтобы ее исследовать, но опошляемая, если разъяснять ее в двадцати строках, ибо ее хватило бы и на четырехтомный роман, столь же занимательный, как и «Киллеринский настоятель», одно из тех произведений, о которых молодые люди рассуждают, никогда их не читая. Огюст де Моленкур был принят в Сен-Жерменском предместье благодаря своей бабке и виду; а двухвековой древности его рода ему было достаточно, чтобы усвоить чванство и взгляды тех, кто считает себя потомками Хлодвига. Этот бледный, хрупкий, стройный молодой человек с мягкими манерами был человеком чести и неподдельной отваги; не задумываясь, по малейшему поводу дрался он на дуэли и хотя не участвовал еще ни в каком сражении, однако носил в петлице крест Почетного легиона. Он, как видите, был живым воплощением одной из ошибок Реставрации, — впрочем, пожалуй, самой простительной. Молодежь этого времени не была молодежью, вскормленной какой-нибудь одной эпохой: она оказалась между воспоминаниями об Империи и воспоминаниями об эмиграции, между старинными традициями двора и добропорядочными буржуазными занятиями, между религией и балом-маскарадом, между двумя политическими системами, между Людовиком XVIII, который жил только настоящим, и Карлом X, который был озабочен только будущим; наконец, она вынуждена была почитать волю короля, даже если король и ошибался. Эту молодежь, во всем неуверенную, слепую и ясновидящую, ни во что не ставили старики, жадно цеплявшиеся своими дряхлыми руками за бразды государственного правления, тогда как спасти монархию могла только их отставка да порыв юной Франции, над которой до сих пор потешаются старые доктринеры, эти эмигранты Реставрации. Огюст де Моленкур был жертвой идей, тяготевших тогда над молодежью, — и вот почему. Видам в шестьдесят семь лет еще был остроумным собеседником, он много повидал на своем веку, многое испытал, был прекрасным рассказчиком, человеком порядочным, светским человеком, но

отвратительно относился к женщинам: он их любил — и вместе с тем презирал. Их честь, их чувства? Вздор, глупости, кривляние! Этот бывший сердцеед верил женщинам, когда находился в их обществе, никогда не противоречил им, почитал их. Но когда среди друзей заходил разговор о женщинах, видам обычно изрекал, что обманывать женщин, вести несколько интриг сразу — вот занятие, которому должны посвящать себя молодые люди, а пытаясь вмешиваться в государственные дела, они сбиваются с пути истинного. Прискорбно, что приходится воссоздавать столь устарелый образ. Кто только его не изображал! Право же, он почти так же затаскан, как образ императорского гренадера. Но видам оказал влияние на судьбу господина де Моленкура, и о видеам нельзя умолчать; он поучал его на свой манер и хотел превратить его в последователя великого века галантности. Почтённая вдова, женщина нежная и набожная, преклонявшаяся и перед видамом и перед Богом, образец милосердия и кротости, но наделённая выдержкой хорошего тона, которая в конечном итоге все побеждает, захотела, чтобы внук сохранил прекрасные иллюзии юности, и воспитала его в лучших правилах; она передала ему все свои утончённые чувства и сделала из него человека застенчивого, производившего впечатление настоящего простачка. Чувства этого юноши, сохранённые в чистоте, не пострадали от прикосновения грубой жизни, он оставался таким целомудренным и щепетильным, что его оскорбляли действия и суждения, почитаемые в свете за самые обыкновенные. Стыдясь своей чувствительности, молодой человек скрывал её под напускной самоуверенностью и в глубине души страдал; но на людях он издевался над тем, чем втайне был восхищён. И жизнь обманула его: по довольно обычному капризу судьбы, он, тихий меланхолик, спиритуалист в любви, встретил в предмете своей первой страсти женщину, питавшую отвращение к немецкой сентиментальности. Молодой человек потерял веру в себя, стал мечтателем, весь ушёл в свои печали, сокрушаясь, что остался непонятым. Но, так как мы с особенной страстью жаждем именно того, чего нам всего труднее добиться, он продолжал обожать женщин, сам обнаруживая при этом присущую женщинам вкрадчивую нежность и кошачью ласковость, тайной которых, быть может, они не желают ни с кем делиться, считая себя монополистами в этой области. В самом деле, хотя женщины и сетуют на то, что мужчины недостаточно любят их, они тем не менее мало благосклонны к мужчинам с женственной душой. Все превосходство женщин состоит в том, чтобы уверить мужчину, будто ему недоступна возвышенная женская любовь, вот почему они так охотно бросают любовника, если тот столь неопытен, что лишает их усладительных страхов, изысканных страданий надуманной ревности, волнений обманутых надежд, тщетных ожиданий, словом — всей совокупности восхитительных женских горестей; они не терпят Грандисонов. Что может быть противнее их природе, чем любовь спокойная и совершённая? Они жаждут великих страстей, а счастье, лишённое бурь, — уже для них не счастье. Женские души, достаточно сильные, чтобы воплотить в любви бесконечность, — это исключительные, ангельские души, и такие натуры среди женщин подобны тому, чем являются гении среди мужчин. Великие страсти столь же редки, как и высокие творения искусства. Кроме этой великой любви, существует любовь-сделка и скоропреходящее возбуждение, презренные, как все мелкое.

В дни тайных сердечных мучений, когда Огюст искал женщину, способную его понять, — такая мечта, кстати сказать, является великим любовным безумием нашего века, — он встретил в обществе, наиболее далёком от его круга, во второй сфере денежного мира, где первенствуют крупные банкиры, — совершённое существо, одну из женщин, излучающих как бы нечто святое, неземное и внушающих такое благоговейное чувство, что только после долгого дружеского общения решаешься заговорить с ними о своей любви. Огюст весь отдался радостям самой трогательной и самой глубокой страсти: он восхищался — и только. То были бесчисленные сдерживаемые желания, нежные и глубокие порывы, столь неуловимые и поразительные в своих оттенках, что не подыскать им даже сравнения, как цветочным ароматам, перистым облакам, солнечным лучам, скользящим теням — всему, что в природе может мгновенно блеснуть и померкнуть, ожить и сейчас же умереть, оставив, однако, в сердце глубоко запавшее чувство. Когда душа ещё достаточно юна, чтобы

предаваться меланхолии и неясным надеждам, когда она способна видеть в женщине больше чем женщину, тогда не величайшее ли счастье, какое может испытать мужчина, — любить так, чтобы ощущать радость лишь оттого, что дотронулся до белой перчатки, слегка коснулся волос, услышал несколько слов, бросил мимолётный взгляд? Не великая ли это радость, которую не даёт самая страстная любовь при самом полном удовлетворении? Вот почему отвергнутые, безобразные, несчастные, тайно влюблённые, робкие женщины и мужчины знают, какие сокровища таит в себе голос любимого существа. Зарождаясь и беря начало в самой душе, эти вибрации голоса, насыщенного огнём, с такой силой соединяют сердца, с такой ясностью передают мысль, так неспособны лгать, что нередко в одной только интонации заключено все значение слов. Сколько очарования дарит сердцу поэта гармонический звук нежного голоса! Сколько дум он пробуждает! Как ободряет его! Любовь слышится в голосе раньше, чем угадывается во взгляде. Огюст — поэт, как всякий влюблённый (бывают поэты чувствующие и поэты пишущие, первые счастливее вторых), — Огюст наслаждался всеми этими первыми радостями, столь огромными, столь животворными. Она обладала самым привлекательным голосом, какой только может пожелать себе самая хитрая обманщица; у неё был серебристый голос, сладостный для слуха, но потрясающий сердце, которое он волнует и тревожит и, лаская, заставляет трепетать. И такая-то женщина шла вечером по улице Соли, по улице Пажвен; и своим тайным посещением отвратительного дома она разбила прекраснейшую из страстей! Логика видама восторжествовала.

«Если она изменяет мужу, мы отомстим», — подумал Огюст.

В этом «если» ещё звучала любовь... Философское сомнение Декарта — вежливая оговорка, которой мы обязаны почтить добродетель. Пробило десять. И тут барон де Моленкур вспомнил, что эта женщина должна быть вечером на балу в доме, куда был вхож и он. Не теряя ни минуты, он оделся, вышел, явился туда и с угрюмым видом принялся искать её по гостиним. Г-жа де Нусинген, заметив, что он чем-то озабочен, спросила его:

— Вы ищете госпожу Демаре? Но её ещё нет.

— Добрый вечер, дорогая, — раздался чей-то голос.

Огюст и г-жа Нусинген обернулись. Г-жа Демаре была в белом платье простого и благородного покроя, волосы её украшали те самые перья марабу, которые она выбрала в модном магазине на глазах у молодого барона. Этот пленительный голос пронзил сердце Огюста. Если бы он завоевал хоть какое-нибудь право ревновать эту женщину, он заставил бы её окаменеть, произнеся лишь два слова: «Улица Соли!» Но ведь он, совершенно чужой ей человек, тысячу раз мог прошептать на ухо г-же Демаре эти слова, а она лишь спросила бы его с удивлением, в чем дело; и Огюст только тупо посмотрел на неё.

Злым людям, тем, кто рад все осмеять, доставило бы, пожалуй, большое удовольствие владеть тайной женщины, знать, что целомудрие её лживо, что под безмятежностью её прячутся тайные мысли и за чистым челом скрывается какая-то отвратительная драма. Но некоторые натуры бывают глубоко удручены подобным зрелищем, и многие из тех, кто смеётся на людях, придя домой, наедине со своей совестью проклинают свет и клеймят презрением таких женщин. Нечто подобное испытывал Огюст де Моленкур по отношению к г-же Демаре. Странное положение! Между ними не было никакой близости, их чисто светское знакомство ограничивалось тем, что за зимний сезон они семь-восемь раз обменялись несколькими словами, — а он судил её; она разбила его счастье, даже не зная об этом, — а он, не сказав ей, в чем она обвиняется, уже выносил ей приговор. Многие из молодых людей попадали в подобное положение и, вернувшись домой, предавались отчаянию после такого же разрыва с женщиной, которую они любили лишь душой, которую молча осудили и предали презрению. Бывают безвестные монологи, обращённые к стенам уединённого жилища, бури, возникшие и укрощённые в глубине сердца, — восхитительные сцены духовной жизни, достойные кисти живописца.

Госпожа Демаре села, оставив мужа прохаживаться по гостиной. Казалось, у неё был несколько смущённый вид, когда она уселась и, разговаривая с соседкой, украдкой бросила

взгляд на Жюля Демаре, своего мужа, работавшего маклером у барона де Нусингена.

Вот история этой четы. Г-н Демаре за пять лет до женитьбы служил в конторе биржевого маклера, и все его состояние заключалось тогда в скудном жалованье конторщика. Но он был из тех, кого испытания быстро учат житейской мудрости, кто следует по избранному пути с упорством букашки, пробирающейся к своему жилью; он был одним из тех настойчивых молодых людей, которые сохраняют невозмутимое спокойствие в борьбе с препятствиями и преодолевают любую волю своим муравьиным терпением. Так, еще совсем молодым человеком он обладал всеми республиканскими добродетелями бедняков: он был скромен, не тратил попусту свое время и был врагом развлечений. Он ждал. К тому же природа наделила его огромным преимуществом — приятной наружностью. Его спокойный и чистый лоб, черты его кроткого, но выразительного лица, его простые манеры — все свидетельствовало о трудолюбивом и безропотном существовании, о внутреннем достоинстве, которое нельзя не уважать, и о глубоком душевном благородстве, которое человек сохраняет, какое бы положение он ни занимал. Его скромность внушала всем, кто его знал, своеобразное почтение. Впрочем, совсем одинокий в Париже, он только ненадолго показывался в обществе, изредка, по праздникам, появляясь в гостиной своего патрона. Этому молодому человеку, как и большинству людей, живущих подобно ему, были свойственны страсти поразительной глубины, страсти, слишком огромные, чтобы проявляться в повседневной жизни. Ограниченный в средствах, он вынужден был отказывать себе во всем и укрощать свои желания усиленной работой. Проведя долгие часы за вычислениями, бледный от усталости, он находил отдых в том, что упорно пополнял запас знаний, необходимых в наши дни для всякого, кто желает выдвинуться в свете, в области торговли, адвокатуры, политики или литературы. Единственным подводным камнем на пути этих прекрасных душ бывает их собственная честность. Встретятся с бедной девушкой, влюбятся в нее, женятся, — и вся жизнь их пройдет затем в борьбе между нищетой и любовью. Книга домашних расходов способна угасить самые пламенные честолюбивые мечты. Жюль Демаре со всего размаха наскочил на этот подводный камень. Как-то вечером он встретил у своего патрона молодую девушку редкой красоты. Несчастливцы, лишённые привязанностей, расточающие лучшие часы своей юности в упорном труде, одни только знают, как стремительно овладевает страсть одинокими, никому не ведомыми сердцами. Они столь уверены, что это и есть настоящая любовь, столь безраздельно отдают все свои силы женщине, которой увлеклись, что испытывают наслаждение от одного ее присутствия, даже не стремясь как-либо выразить свое чувство. Нет ничего более лестного, чем такой мужской эгоизм, для женщины, которая умеет разгадать эту скованную силу страсти, эти порывы ее, возникающие в таких глубинах, что долго они остаются недоступными для взора. Подобным несчастным людям — отшельникам в недрах самого Парижа — знакомы все радости христианских отшельников, а порою — их грехопадения; но чаще они оказываются обманутыми, преданными, непонятыми, им редко удается пожинать сладостные плоды любви, которая бывает для них всегда цветком, упавшим с небес. Одной улыбки девушки, ставшей впоследствии его женой, одного звука ее голоса было достаточно для Жюля Демаре, чтобы зажечь в нем безграничную страсть. К счастью, жаркий огонь этой тайной любви наивно открылся той, кто его зажгла. И тогда эти два существа свято полюбили друг друга. Словом, они, не стыдясь света, взялись за руки, как дети, как брат и сестра, когда тем надо пройти сквозь толпу, где каждый, в восхищении при виде их, уступает им дорогу. Положение молодой девушки было тогда ужасным, как и многих детей — жертв человеческого эгоизма. Она была незаконнорожденной — ее имя, Клеманс, и ее возраст были засвидетельствованы только нотариальным актом. Состояние же у нее было самое незначительное. Узнав об этих печальных обстоятельствах, Жюль Демаре почувствовал себя счастливейшим из людей. Происходи Клеманс из богатой семьи, он не надеялся бы добиться ее руки; но она была бедное дитя любви, плод какой-то ужасной незаконной страсти; они поженились. И тут для Жюля Демаре началась полоса удач. Все завидовали его счастью, злые люди твердили, что ему просто повезло, умалчивая при этом о его достоинствах и его

мужестве. Вскоре после того как Клеманс вышла замуж, ее мать, которая в свете слыла за ее крестную, посоветовала Жюлю Демаре купить должность маклера, обещая достать необходимые для этого деньги. В то время такая должность стоила ещё недорого. Вечером, в гостиной его патрона, один богатый капиталист, по рекомендации этой дамы, предложил Жюлю Демаре наивыгоднейшую сделку, предоставив ему такой кредит, какой был нужен, чтобы пустить дело в ход, и на другой день счастливый конторщик купил контору маклера, у которого служил. За четыре года Жюль Демаре стал одним из самых богатых людей своего круга, новые солидные лица пополнили собой число клиентов, переданных ему вместе с конторой. Он внушал всем безграничное доверие, и дела его устраивались так блестяще, что невольно напрашивалась мысль или о тайном влиянии тётки, или о каком-то таинственном покровительстве, которое сам он приписывал небесному провидению. В конце третьего года замужества Клеманс потеряла свою крестную мать. К этому времени г-н Жюль, — его звали так в отличие от его старшего брата, устроенного им нотариусом в Париже, — имел уже около двухсот тысяч ливров годового дохода. Нельзя было встретить в Париже более счастливую чету. В течение пяти лет их исключительная любовь один-единственный раз была омрачена клеветой, за которую г-н Жюль жестоко отомстил. Один из его прежних приятелей приписал г-же Демаре обогащение её мужа, уверяя, что тут не обошлось без какого-нибудь её покровителя, и притом, разумеется, не бескорыстного. Клеветник был убит на дуэли. Глубокая взаимная страсть Жюля и его жены, выдержавшая испытания брака, возбуждала величайшие восторги в свете, хотя и раздражала некоторых женщин. Все уважали, все ласкали очаровательную чету. Все искренне любили г-на и г-жу Демаре, быть может потому, что нет ничего слаще вида счастливых людей; но супруги никогда не задерживались долго в гостиных, им не терпелось вернуться домой — так заблудившиеся голубки, торопливо взмахивая крыльями, спешат к своему гнезду. Гнёздышко Жюля и его жены находилось на улице Менар и представляло собою большой и прекрасный особняк, где художественный вкус умерял показную пышность, вошедшую в традицию у финансистов, и где муж и жена устраивали великолепные приёмы. Хотя шумная жизнь мало их привлекала, однако Жюль терпел светское общество, зная, что рано или поздно семье не обойтись без него; но жена его и он сам всегда чувствовали себя в свете как тепличные растения посреди разыгравшейся бури. Из деликатности, вполне естественной, Жюль скрыл от жены и пущенную про неё клевету и смерть клеветника, чуть было не омрачившего их семейное счастье. Г-жа Демаре, в силу своей артистической, утончённой натуры, любила роскошь. Даже после того страшного урока, каким послужила дуэль, находились неосторожные женщины, судачившие о том, что, вероятно, супруга г-на Жюля частенько нуждается в средствах. По их расчётам, двадцати тысяч франков, отпускаемых ей мужем на туалеты и всякие прихоти, не могло ей хватить. И правда, в домашней обстановке она бывала нередко ещё наряднее, чем в обществе. Она любила одеваться только для мужа, как бы желая показать, что его она ставит выше общества. Это была любовь истинная, любовь чистая и счастливая, как только может быть счастливо чувство, таящееся от людского глаза. Так г-н Жюль всегда оставался любовником собственной жены, с каждым днём был влюблён в неё все больше и больше, любил в ней все, даже её капризы, и, мало того, начинал беспокоиться, если их не было, словно это был признак какой-нибудь болезни.

На свою беду, Огюст де Моленкур столкнулся с этой страстью и увлёкся этой женщиной до потери рассудка. Однако хотя для него не существовало ничего, кроме его возвышенной любви, он не был смешон. Он подчинялся всем требованиям военных нравов; но даже за бокалом шампанского неизменно сохранял он тот мечтательный вид, то презрительное отношение к жизни и то хмурое выражение лица, которые по тем или иным причинам наблюдаются у людей пресыщенных, неудовлетворённых житейской суетой, и у всех, кто считает себя слабогрудым или подозревает у себя сердечное заболевание. Быть безнадежно влюблённым и пресыщенным жизнью — нередко в наши дни составляет основное занятие человека. А ведь попытка завладеть сердцем какой-нибудь королевы была бы менее безнадежна, чем эта безрассудная любовь к женщине, счастливой в супружестве.

Итак, Моленкур имел достаточно оснований пребывать в угрюмой печали. Королеву можно покорить, играя на её тщеславной жажде власти, её высокое положение — её слабость; но богобоязненная мещаночка защищена надёжной оболочкой, словно ёж или устрица.

В настоящую минуту молодой офицер находился подле той, которая неведомо для себя была его возлюбленной и, бесспорно, не подозревала, что повинна в двойной измене. Г-жа Демаре держалась просто, как самая бесхитростная из женщин, и была преисполнена кротости и величавого покоя. Ну не омут ли человеческая натура! Прежде чем заговорить, барон поочерёдно оглядел жену и мужа. Какие только мысли не приходили ему в голову! В одно мгновение он пережил «Ночи» Юнга от начала и до конца. А в залах гремела музыка, тысячи свечей изливали свой свет, — это был бал у банкира, одно из тех наглых празднеств, которыми мир полновесного золота бросал вызов старому позлащённому миру салонов, где смеялось избранное общество Сен-Жерменского предместья, не подозревавшее, что близок день, когда банк захватит Люксембургский дворец и водворится на троне. Будущие заговорщики плясали тогда, не задумываясь ни о грядущем крахе власти, ни о грядущих крахах банка. Роскошные гостинные барона де Нусингена блистали тем особенным оживлением, какое придаёт своим праздникам парижский свет, всегда весёлый — хотя бы с виду. Здесь талантливые люди дарят глупцам блёстки своего ума, а глупцы заражают их своей счастливой беспечностью. Такой обмен все оживляет. Но любой праздник в Париже всегда слегка напоминает фейерверк: остроумие, кокетство, наслаждение — все вспыхивает и гаснет, словно ракеты. На следующий день никто уже не помнит ни острых слов, ни кокетливых взглядов, ни минувших удовольствий.

«Что же, стало быть, женщины все таковы, какими их представляет старый видам? — подумал Огюст, подводя итог своим размышлениям. — Бесспорно, госпожа Демаре кажется самой безупречной из всех танцующих здесь женщин, а госпожа Демаре бывает на улице Соли».

Улица Соли стала его навязчивой идеей, от одного её названия у него сжималось сердце.

— Сударыня, почему вы никогда не танцуете? — спросил он г-жу Демаре.

— Вот уже третий раз за зиму вы задаёте мне этот вопрос! — ответила она улыбаясь.

— Но вы как будто ещё ни разу мне не ответили.

— Это правда.

— Я не сомневаюсь, что вы так же неискренни, как и все женщины..

Госпожа Демаре продолжала улыбаться.

— Знаете ли, сударь, если бы я открыла вам истинную причину, она показалась бы вам смешной. Я не считаю неискренностью скрывать то, над чем потешается свет.

— Тайны, сударыня, открываются только друзьям, — звание, которого я, наверное, не заслужил. Но у вас могут быть только благородные тайны; так неужели вы считаете меня способным смеяться над чувствами, достойными уважения?

— Да, — ответила она, — вы, как и все, смеётесь над нашими самыми чистыми побуждениями, вы на них клеветаете. Впрочем, мне нечего скрывать. Моё право — любить мужа открыто, перед лицом всего света, я признаюсь в этой своей любви, я горжусь ею; и если вы станете издеваться надо мною, узнав, что я танцую только с ним, я составлю дурное мнение о вашем сердце.

— Так, значит, вы после замужества танцевали только с мужем и больше ни с кем?

— Да, сударь. Его рука — единственная, на которую я опиралась, и я никогда не знала прикосновения другого мужчины.

— Что же, и врач ни разу не щупал вам пульса?

— Ну вот, вы уже издеваетесь!

— Нет, сударыня, я вами восхищаюсь, я вас понимаю. Но вы разрешаете слушать ваш голос, вы разрешаете видеть вас... словом, вы позволяете нам восхищаться вами...

— Ах, вот это меня и печалит, — перебила она. — Да, я хотела бы, чтобы замужняя женщина жила бы со своим мужем, как любовница с любовником, тогда...

— Тогда почему же два часа назад вы, пешком, таясь ото всех, шли по улице Соли?

— Что это за улица Соли? — спросила она его.

И её чистый голос не выдал ни малейшего волнения, ни одна черта лица её не дрогнула, она не покраснела, не смутилась.

— Как! вы не поднимались на третий этаж дома на углу улицы Старых августинцев и Соли? Вас не ждал фиакр в десяти шагах от дома? Вы не отправились потом на улицу Ришелье в магазин, где купили те самые перья марабу, что украшают сейчас вашу голову?

— Сегодня вечером я никуда не выходила из дому. Произнося эти лживые слова, она смеялась и невозмутимо обмахивалась веером; но тот, кто был бы вправе обнять её за талию, наверное, почувствовал бы, что спина её покрылась холодным потом. В эту минуту Огюст вспомнил уроки видама.

— В таком случае та особа поразительно похожа на вас, — сказал он с доверчивым видом.

— Сударь, — ответила она, — если вы способны преследовать женщину и подглядывать за нею, то, простите за откровенность, вы поступаете дурно, очень дурно. Нет, я о вас держусь лучшего мнения и не хочу этому верить!

Барон отошёл от неё, сел у камина и, казалось, задумался. Он опустил голову, но продолжал исподтишка следить за г-жой Демаре, которая, забыв об отражении зеркал, два-три раза бросила на него взгляд, исполненный ужаса. Г-жа Демаре кивком головы подозвала мужа, опёрлась на его руку и встала, чтобы пройти по гостиной. Когда она проходила мимо г-на Моленкура, тот, как бы продолжая беседу с приятелем, громко сказал:

— Да, не знать этой женщине сегодня спокойного сна... Госпожа Демаре остановилась, бросила на него презрительный взгляд и прошла дальше, не подумав о том, что стоило бы мужу перехватить этот взгляд, и под угрозой оказались бы её счастье и жизнь двух мужчин. Огюст, охваченный бешенством, затаённым в глубине души, скоро ушёл, поклявшись распутать эту интригу. Перед уходом он хотел ещё раз взглянуть на г-жу Демаре, но её уже не было. Что за драму испытывала его юная душа, чрезмерно пылкая, как у всех тех, кто не познал ещё любви во всей желанной ими полноте! Он обожал г-жу Демаре и теперь, в этом новом её облике, любил её с неистовством ревности, с безумной тоской пробудившихся надежд. Ведь, изменив мужу, эта женщина становилась доступной. Огюст мог предаваться всем радостным предчувствиям счастливой любви, предвкушая бесконечные наслаждения, связанные с обладанием. Словом, он потерял ангела и обрёл самого обольстительного демона. Он лёг спать, строя бесчисленные воздушные замки, оправдывая поведение г-жи Демаре какой-то романической благотворительностью, чему и сам не верил. Затем он решил со следующего же утра посвятить все своё время и силы тому, чтобы доискаться, как возникла, с чем была связана, в чем заключалась тайна г-жи Демаре. Ему предстояло прочесть роман, или, вернее, познакомиться с драмой и самому принять в ней деятельное участие.

Недурное развлечение — ремесло шпиона, когда занимаешься им ради себя самого, ради удовлетворения своей страсти. Разве это не то же самое, что баловаться воровством, считая себя честным человеком? Но необходимо примириться с тем, что будешь задыхаться от гнева, изнывать от нетерпения, мёрзнуть, стоя в грязи, леденеть и пылать огнём, жить обманчивыми надеждами. Надо будет, ловя какое-нибудь сомнительное указание, стремиться к неизвестной цели, терпеть неудачи, проклинать все на свете, мысленно петь себе элегии или дифирамбы, глупо кричать на разглядывающего тебя безобидного прохожего, наскакивать на торговков с яблоками, опрокидывая их корзины, носиться по всему городу, стоять под окнами, строить тысячи предположений... Да ведь это настоящая охота, охота на улицах Парижа, со всеми её особенностями — только что без собак, ружья и улюлюканья! Подобные ощущения сравнимы лишь с ощущениями игрока. Кроме того, требуется ещё сердце, переполненное любовью или чувством мести, чтобы подстерегать в Париже добычу, как тигр, готовый к прыжку, и наслаждаться неожиданностями, таящимися в Париже, в каком-нибудь парижском квартале, находить в городе новые, не ведомые

никому черты. Не значит ли это обладать многогранной душой, ощущать тысячу страстей, тысячу чувств одновременно?

Огюст де Моленкур со страстью предался этой кипучей жизни, ибо постиг все её невзгоды и наслаждения. Переодевшись, слонялся он по Парижу, караулил на всех углах улицы Пажвен и Старых августинцев. Как охотник, метался он взад и вперёд между улицей Менар и улицей Соли, не зная сладости мести, не получая ни награды, ни наказания за весь свой труд, за все свои уловки и хитрости. И однако он не дошёл ещё до такого отчаяния, когда сжимается сердце и проступает пот на висках! Он бродил, не теряя надежды, думая, что г-жа Демаре пока ещё не решалась появиться там, где однажды уже была застигнута. Новичок в этом деле, он не посмел обратиться с расспросами к привратнику дома, где бывала г-жа Демаре, или же к сапожнику; но он надеялся устроить себе наблюдательный пост в одной из квартир, расположенных напротив таинственного жилища. Он изучал местность, желая сочетать осторожность и нетерпение, любовь и тайну.

В первых числах марта, поглощённый думами о том, как нанести сокрушительный удар, он, покинув поле действий после упорных, но безрезультатных стараний, возвращался около четырех часов дня домой, куда его призывали служебные дела, как вдруг, едва лишь свернув на улицу Кокильер, он был застигнут ливнем, да таким, от которого внезапно переполняются все канавы, а в лужах на мостовой вода расходится кругами под тяжёлыми каплями. В таких случаях парижский «пехотинец» поневоле останавливается, ища спасения в лавке или кофейне, если у него есть деньги, чтоб уплатить за вынужденное гостеприимство, а на худой конец — под воротами, в этом убежище бедных, плохо одетых людей. И как это наши художники не удосужились до сих пор изобразить кучку парижан, столпившихся в непогоду под сырым навесом крыльца! Где встретите вы более живописную картину? Прежде всего вы увидите здесь пешехода-мечтателя или философа — с удовольствием наблюдает он за длинными нитями дождя, пронизывающими тусклый парижский воздух, образуя словно причудливый чеканный узор, наподобие стеклянных прожилок; за смерчами светлой водяной пыли, которые взвевает над крышами ветер; за своевольно брызжущими, вспененными потоками, рвущимися из водосточных труб; наконец, за тысячами других восхитительных мелочей, которыми наслаждается уличный зевака, невзирая на то что привратник не раз заденет его своей метлой. Вот словоохотливый пешеход — он посетовал на погоду и разговорился с привратницей, а та опёрлась на метлу, как гренадер на ружьё, вот пешеход-оборвыш, он кажется каким-то фантастическим существом на фоне стены, к которой прислонился, ничуть не заботясь о своих намокших лохмотьях, привычных ко всем уличным случайностям; вот пешеход-грамотей, неустанно изучающий афиши, читающий их по складам, а то, случается, и бегло; вот пешеход-шутник, он потешается над прохожими, когда их постигнет какая-нибудь беда, смеётся над женщинами, забрызганными грязью, а всем, кто глазеет из окон, строит рожи, не щадя ни возраста, ни пола; дальше — молчаливый пешеход, скользящий взглядом по этажам; пешеход-мастеровой, с сумкой или свёртком в руках, оценивающий дождь с точки зрения выгоды и убытков; пешеход любезный, врывающийся как бомба со словами: «Ну и погодка, господа!» — и раскланивающийся со всеми; наконец, устроившийся на стуле привратника типичный парижский буржуа с зонтиком, опытный по части дождя, предвидевший непогоду, но вышедший из дому, несмотря на уговоры жены. Все представители этого случайного общества, каждый на свой лад, поглядывают на небо и в конце концов вприпрыжку, стараясь не испачкать ног, снова пускаются в путь — потому ли, что боятся куда-нибудь опоздать, потому ли, что видят, как другие идут, несмотря на ветер и лужи, или потому, что во дворе, под навесом, такой промозглый, нездоровый воздух, — того и гляди схватишь простуду, а, по пословице, из двух зол выбирают меньшее. У каждого свои причины. И вот остаётся только осторожный пешеход, он не решается покинуть своё убежище, пока не увидит клочка ясного неба среди разорванных туч.

Господин де Моленкур приютился вместе с целым табором прохожих под аркой ворот старого дома, двор которого напоминал огромную печную трубу. С оштукатуренных,

травленных селитрой и зеленоватых от сырости стен спускалось столько труб и желобов, столько лилось воды с четырех многоэтажных корпусов во дворе, что можно было подумать, будто ты находишься среди водопадов Сен-Клу. Вода струилась отовсюду, она бурлила, вздымалась, журчала, принимала чёрный, белый, синий, зелёный цвет; она шумно взлетала из-под метлы привратницы, беззубой старухи, — та ничуть не страдала от разбушевавшейся непогоды и, видимо, благословляла её, выметая на улицу множество самых разнообразных отбросов, обличавших образ жизни и привычки квартирантов. Это были обрезки ситца, чайники, лепестки искусственных цветов, выцветших или неудавшихся мастерице, очистки овощей, какие-то бумажки, осколки металла. С каждым взмахом метлы обнажалось дно канавы, разделённой на шашечные клетки, — чёрной расщелины, с остервенением очищаемой привратниками. Несчастный влюблённый наблюдал эту сценку, подобную тысяче других, что разыгрываются ежедневно в изменчивом Париже, но наблюдал рассеянно, как тот, кто погружён в свои думы, — и вдруг, подняв голову, он встретился взглядом с только что подошедшим человеком.

Это был, судя по обличью, нищий, но не обычный известный нам парижский нищий, существо, которое не определишь словами ни на каком языке; нет, этот человек являл собой совершенно особенный тип, не укладывающийся в ходячее понятие, связанное со словом «нищий». Незнакомец совсем был лишен того чисто парижского характера, что нередко поражает нас в иных зарисовках Шарле, где удивительно удачно бываю́т схвачены черты этих несчастливцев, грубых, измазанных грязью людей, с хриплыми голосами, красными носами картошкой, с беззубыми, но хищными ртами, людей до того жалких и до того ужасных, что взор их, блещущий умом, производит впечатление неожиданности. У некоторых из этих потерявших стыд бродяг — пятнистые, облупившиеся лица с набухшими жилами, изрезанный морщинами лоб, жидкие, засаленные волосы, словно на парике, выброшенном на свалку. Все они веселы в своем позорном падении и позорят себя своим весельем; все они отмечены печатью разврата, молчанием своим они бросают вам упрек; их состояние возбуждает страшные мысли. Влача свою жизнь на грани между нищенством и преступлением, они не знают больше угрызений совести, они опасливо и ловко обходят эшафот, они порочны, но не преступны — правда, от преступлений их удерживает лишь расчетливость, свойственная пороку. Иногда они возбуждают улыбку, но всегда наводят на размышление. Один воплощает в себе уродство цивилизации, его пониманию доступно все: и своеобразная честь каторжника, и патриотизм, и добродетель; он совмещает в себе и хитрость пошлого преступника и ум утонченного злодея. Другой покорен судьбе, он ловкий лицедей, но глуп. Все они когда-то не лишены были стремления к порядку и труду, но общество втоптало их в грязь, ему дела нет до того, что среди бедняков, этих парижских цыган, пропадает столько поэтов, великих людей, смелых, богато одаренных личностей; этот люд причастен великому добру и великому злу, как все, прошедшие через страдания; он привык переносить неслыханные бедствия, какая-то губительная сила постоянно сталкивает его в грязь. Каждый из них лелеет свою мечту, надежду, радость, обретая их в картах, лотерее, вине. Ни единой черты, присущей этим странным существам, не чувствовалось в человеке, который беспечно прислонился к стене напротив г-на де Моленкура и походил на фантастический образ, созданный вымыслом даровитого художника и нарисованный на обратной стороне какого-нибудь полотна. Высокий и сухощавый, с лицом свинцового цвета, обличавшим работу глубокой, холодной как лед мысли, этот человек убивал жалость к себе в сердцах зевая своим ироническим и мрачным взглядом, без слов требуя, чтобы с ним обращались как с равным. Его грязно-белое лицо и морщинистый лысый череп чем-то напоминали обломок гранита. Несколько прямых прядей седых волос падало с висков на воротник засаленного, доверху застегнутого сюртука. Он походил и на Вольтера и на Дон Кихота; он был насмешлив и меланхоличен, полон философского презрения, но в то же время почти безумен с виду. По-видимому, на нем не было белья. Лицо обросло длинной бородой. Дрянной шейный платок черного цвета, изодранный и обтрепанный, даже не прикрывал морщинистой шеи, в толстых, как веревки, жилах, с большим кадыком. Под

глазами темнели дряблые мешки. Ему можно было дать шестьдесят лет, не меньше. У него были белые, чистые руки, на ногах — стоптанные рваные сапоги. К синим штанам в заплатках пристал какой-то белый пух, придававший им отвратительный вид. Стала ли его одежда издавать зловоние, намокнув под дождем, или он без того был весь пропитан запахом нищеты, свойственным парижским лачугам, подобно тому, как конторам, ризницам и госпиталям присущ совсем особенный, не поддающийся описанию, промозглый смрад, — только все, стоявшие рядом с ним, отошли подальше, оставив его одного; он бросил сначала на них, потом на офицера спокойный, безразличный взгляд, пресловутый взгляд Талейрана — тусклый, лишенный всякой теплоты, служащий как бы непроницаемой завесой сильным душам, которые скрывают за ним глубокие чувства и безошибочные суждения о людях, вещах и событиях. Ни одна морщинка не дрогнула на его лице. Бесстрастными оставались лоб и рот; он только опустил свой взор на землю с какой-то благородной и почти трагической медлительностью. И в движении увядших век читалась глубокая драма.

При виде этого стоического человека г-н де Моленкур невольно отдался игре воображения, как это нередко бывает, когда первоначальное простое любопытство влечёт за собой целый поток мыслей. Гроза прошла. Г-н де Моленкур успел лишь заметить, как сюртук старика скользнул своей полою по уличной тумбе; но, выходя из-под навеса, офицер увидел у себя под ногами письмо, видимо, только что обронённое, и догадался, что его потерял незнакомец, ибо тот вынимал из кармана платок. Офицер, подняв письмо, чтобы отдать его старику, машинально прочитал адрес:

«Господину Феррагусу, улица Старых августинцев, угол улицы Соли. Париж».

Штемпеля не было. Увидав адрес, г-н де Моленкур раздумал догонять нищего, ибо мало найдётся на свете страстей, которые не толкали бы в конце концов на бесчестный поступок. У барона появилось предчувствие, что находка может ему пригодиться, он решил оставить её пока у себя, чтобы получить право войти в таинственный дом и там передать письмо старику, — он не сомневался уже, что тот живёт в этом подозрительном доме. И сразу рой мыслей, смутных, как первые проблески дня, замелькал у него в голове, устанавливая связь между этим человеком и г-жой Демаре. Ревнивые любовники способны предположить все, что угодно, — и именно таким путём, избирая самые правдоподобные из своих разнообразных догадок, судьи, шпионы, любовники, наблюдатели устанавливают интересующую их истину.

«Не к нему ли это письмо? Не от госпожи ли Демаре?» Тысяча вопросов возникла в его беспокойном воображении, но, прочтя первые же слова письма, он улыбнулся. Вот, во всей своей великолепной наивности и в ужасающей безграмотности, дословный текст — здесь ничего не добавишь, не убавишь, можно лишь расставить необходимые знаки препинания. В оригинале нет ни запятых, ни точек, нет даже восклицательных знаков, этой основы, на которой держится вся пунктуация современных авторов и без которых они бессильны были бы изобразить роковую силу человеческих страстей.

«*Анри!*

Я шла ради вас на многие жертвы, в том самом числе — и на то, чтобы ничем не напоминать вам о себе, но в текущее время, повинувшись какому-то неодолимому голосу, я не могу промолчать про все ваши преступления против меня. Наперёд знаю, что в вашей душе, закореневшей в пороках, не найдётся и капли жалости ко мне. Ваше сердце неспособно ни на какие чувства. Быть может, оно глухо и к зову природы, но все равно: я должна показать вам все ваше злодейство, до какого ужаса вы меня довели. Анри! Вы знали, как я горевала о своей первой ошибке, но, однако, вы мучили меня такими же мучениями и предали меня отчаянности и скорби. Так знайте, Анри, я была уверенной, что вы меня любите и уважаете, оттого я и могла терпеть свою горькую долю. Но что остаётся теперь? Вы отняли у меня все самое дорогое, все, что привязывало меня к жизни; я пожертвовала вам всеми родными,

честью, репутацией, и мне остаётся только бесчестие, стыд и, скажу не краснея, нищета. Для полного моего несчастья не хватало только уверенности в вашем презрении и вашей ненависти, теперь я об этом не сомневаюсь, и у меня найдётся мужество, необходимое для осуществления моего плана. Решение моё принято, этого требует честь моей семьи, я положу конец моим мукам. Анри! Не отговаривайте меня. Мой план ужасный, я знаю, но меня вынуждает моё положение. Без помощи, без поддержки, без единого друга, который мог бы утешить меня, могу ли я жить? — нет! Так решила судьба. Итак, через два дня, Анри, через два дня Ида не будет больше достойна вашего уважения; но верьте моей клятве, что совесть моя спокойна, ибо я всегда оставалась достойной вашей дружбы. Анри, дорогой друг, — ведь вы всегда будете мне другом, — обещайте же, что вы простите мне путь, на который я вступаю. Любовь придавала мне мужество, она укрепит мои силы. Сердце моё полно тобой, оно спасёт меня от соблазнов. Не забывайте никогда, что судьба моя — дело ваших рук, и судите себя. Да помилует вас небо за все ваши прегрешения, на коленях вымаливаю я вам прощение, ибо знаю — ваши горести только усугубят моё несчастье. Несмотря на нужду, которую я терплю, я не приму от вас никакой помощи. Если бы вы любили меня, я могла бы принять эту помощь как знак дружбы, но благодеяния из жалости не приемлет душа, ибо я стала бы подлее того, кто даёт. Я прошу вас об одной только милости. Я не знаю, сколько времени придётся мне пробыть у г-жи Менарди, проявите же такое великодушие: не ходите туда при мне. Ваши последние два посещения причинили мне боль, которая не скоро успокоится, мне тяжело обсуждать подробности вашего поведения в этом доме. Вы ненавидите меня, это слово начертано в сердце моем и леденит его ужасом. Увы! в минуту, когда мне необходимо все моё мужество, силы покидают меня. Анри, друг мой, прежде чем между нами ляжет пропасть, дай мне последнее доказательство твоего уважения: черкни несколько слов, откликнись, подтверди, что ещё уважаешь меня, если и разлюбил. Хотя я могу смотреть вам прямо в глаза, но я не ищу свидания; я боюсь своей слабости и своей любви. Но умоляю вас, напишите мне поскорей, хоть одно единое словечко, оно даст мне мужество, поможет перенести мои горести. Прощайте, виновник всех моих бед, но единственный друг, избранник сердца, которого я никогда не забуду.

Ида ».

Эти немногие слова, в которых запечатлелась жизнь молодой девушки, её обманутая любовь, сгубившие её радости, горе, нищета и ужасающее самоотречение, эта не ведомая никому, но чисто парижская поэма, заключённая в грязном конверте, на мгновение взволновала г-на де Моленкура, у которого под конец промелькнула мысль: а не приходится ли эта самая Ида родственницей г-же Демаре, и не жалостью ли к ней было вызвано вечернее свидание, невольным свидетелем которого он стал? Неужели нищий старик обольстил Иду?.. Такое предположение показалось невероятным. Теряясь в вихре мыслей, которые сталкивались, опрокидывая друг друга, барон дошёл до улицы Пажвен и заметил фиакр, стоявший в конце улицы Старых августинцев, недалеко от улицы Монмартр. Все фиакры, поджидавшие седоков, возбуждали его подозрения.

«Не она ли?» — подумал он.

Сердце его билось горячо и лихорадочно. Он толкнул небольшую дверь с колокольчиком, но, входя, низко опустил голову, испытывая что-то вроде стыда, ибо внутренний голос твердил ему: «Какое тебе дело до чужой тайны?»

Он поднялся на несколько ступенек и столкнулся лицом к лицу со старухой привратницей.

— Дома господин Феррагус?

— Не знаю такого...

— Как, разве господин Феррагус здесь не живёт?

— Нет таких у нас в доме.

— Но, матушка...

— Я вам не матушка, сударь, я привратница.

— Но, сударыня, — мне надо передать письмо господину Феррагусу.

— А, это другое дело! — сказала она, сразу переменяв тон. — Где ваше письмо? Дайте взглянуть.

Огюст показал конверт. Старуха с сомнением покачала головой, заколебалась и как будто хотела покинуть свою каморку, чтобы сообщить таинственному г-ну Феррагусу о необычайном происшествии, но затем сказала:

— Ладно, идите. Вы должны знать, куда...

Как бы пропустив мимо ушей эти слова, которыми хитрая старуха, быть может, хотела его подловить, офицер поспешно взбежал по лестнице и стремительно дёрнул звонок у двери третьего этажа. Инстинкт влюблённого твердил ему: «Она здесь».

Незнакомец из подъезда, он же Феррагус, он же виновник всех бед Иды, сам открыл ему дверь. На нем был пёстрый в цветах халат, белые суконные панталоны, на ногах красивые вышитые туфли, лицо было чисто вымыто. Г-жа Демаре выглянула из дверей соседней комнаты, побледнела и упала на стул.

— Что с вами, сударыня? — воскликнул офицер, бросаясь к ней.

Но Феррагус протянул руку и так резко, с такой силой оттолкнул офицера, что Огюсту показалось, будто его ударили железным ломом.

— Назад, милостивый государь! — произнёс этот человек. — Чего вам надо от нас? Вы рыщете здесь вот уже пять или шесть дней. Вы что, шпион?

— Вы господин Феррагус? — спросил барон.

— Нет, сударь.

— Однако же, — сказал Огюст, — я должен передать вам письмо, которое вы потеряли в подъезде, где мы укрывались от дождя.

И, протягивая с этими словами письмо, барон не мог удержаться, чтобы не окинуть взглядом комнату, где его принимал Феррагус, — она оказалась убранной просто, но с большим вкусом. В камине горел огонь; тут же был накрыт стол, с роскошью, казалось бы, недоступной человеку такого положения, проживающему в столь неказистом доме. В довершение всего через открытую дверь г-н де Моленкур разглядел в соседней комнате груды золота на кушетке и услышал звуки, могущие быть только женскими рыданиями.

— Эта бумага принадлежит мне, благодарю вас, — сказал незнакомец и выжидательно обернулся к барону, всем своим видом давая понять, что тому здесь больше нечего делать.

С жадным любопытством Огюст разглядывал все вокруг, вот почему он не обратил внимания на то, как его самого тщательно осмотрели, не видел почти магического взгляда, которым незнакомец, казалось, хотел его испепелить, — а если бы офицер заметил этот взгляд василиска, он понял бы опасность своего положения. Слишком возбуждённый, чтобы думать о себе, Огюст раскланялся, вышел на улицу и направился домой, пытаясь разгадать взаимоотношения трех лиц: Иды, Феррагуса и г-жи Демаре, — но это было ничуть не легче, чем из причудливых деревяшек китайской головоломки сложить узор, не зная к ней ключа. Однако ясно было одно: г-жа Демаре его видела, г-жа Демаре туда ходила, г-жа Демаре ему лгала. Г-н де Моленкур решил завтра же пойти к этой женщине с визитом; она не может отказать ему в приёме, ведь он стал её сообщником, ведь он весь, с руками и ногами, влез в эту тёмную интригу. Он уже считал себя повелителем г-жи Демаре и думал о том, как властно потребует он, чтобы она открыла ему все свои тайны.

В эти годы Париж был охвачен строительной лихорадкой. Если Париж — чудовище, то, бесспорно, самое безумное из чудовищ. Тысячи фантазий владеют им: то он строится, словно увлеченный зодчеством знатный вельможа; то, забыв о постройках, становится военным, облачается в мундир национального гвардейца, устраивает военные учения и попыхивает сигарой; но вот он уже пресыщается военными делами и бросает сигару; бывает и так, что Париж предается отчаянию, разоряется, продает с торгов, на площади Шатле, свое имущество и объявляет себя банкротом, а проходит несколько дней — и он поправляет свои дела, задает пиры, пускается в пляс. Ни с того ни с сего вдруг он начинает объедаться ячменным сахаром; вчера он покупал бумагу «Вейнен», сегодня у него разболелись зубы, и

он расклеивает по всем стенам объявления о новом средстве против зубной боли, а завтра станет запасаться лепешками от кашля. Увлечения его длятся недели, месяцы, годы, а иногда и всего один день. Так вот, в те времена везде что-то строили, что-то разрушали, а зачем именно — пока было еще неизвестно. Редко на какой улице не встречались сооружения из длинных балок, перекрытых досками, закрепленными в гнездах на уровне каждого этажа; шаткие леса, колеблемые шагами каменщиков, наскоро связанные канатами, белые от извести и разве только иногда отгороженные от проезжающих экипажей дощатым забором, обязательным, вероятно, лишь для общественных зданий, которые остаются и по сию пору недостроенными. Чем-то корабельным веет от этих своеобразных мачт, лестниц, канатов, криков каменщиков. Одно из таких недолговечных сооружений и было воздвигнуто в двадцати шагах от особняка Моленкуров, вокруг строящегося дома из тесаного камня. На другой день, в ту самую минуту, когда барон де Моленкур проезжал в кабриолете мимо этой постройки, направляясь к г-же Демаре, каменная глыба величиною около двух квадратных футов, поднятая на самый верх лесов, сорвалась с веревок, перевернулась в воздухе и упала, раздавив лакея, стоявшего на запятках. Крик ужаса вырвался у каменщиков, сотрясая леса; один из них был на волосок от гибели и едва удержался за какую-то перекладину — как видно, камень задел и его. Быстро собралась толпа. Все каменщики сбежали вниз и с криком и бранью стали заверять, что кабриолет г-на де Моленкура зацепил их лебедку. Еще каких-нибудь два вершка, и камень размозжил бы голову офицеру. Лакей был мертв, экипаж изломан. Происшествие взбудоражило весь квартал, о нем писали в газетах. Г-н де Моленкур, уверенный, что его кабриолет ничего не задевал, подал жалобу. В дело вмешалось правосудие. Расследование установило, что у постройки стоял паренек с рейкой в руке и предупреждал прохожих и проезжих, чтобы они сворачивали в сторону. На том все и кончилось. Г-н де Моленкур отделался потерей слуги и испугом, да несколько дней пролежал в постели, так как при поломке кабриолета задняя ось задела офицера, а кроме того, нервное потрясение, причиненное неожиданным происшествием, вызвало у него лихорадку. Он не поехал к г-же Демаре. Спустя десять дней после этого события он впервые выехал из дому в Булонский лес в своем починенном экипаже, но, когда спускался по Бургундской улице и проезжал мимо сточной канавы, что находится напротив палаты депутатов, ось кабриолета переломилась пополам, и на всем разгоне два колеса столкнулись с такой силой, что разбили бы Огюсту голову, если бы поднятый верх экипажа не смягчил силу удара. Но все же барон получил тяжелую рану в бок. Так, во второй раз за эти десять дней, он был доставлен полуживой к расстроенной баронессе. Второй несчастный случай возбудил в нем некоторые подозрения, пока еще смутные, — он подумал о Феррагусе, о г-же Демаре. Желая проверить свои догадки, он спрятал поломанную ось у себя в спальне и послал за каретником. Пришел каретник, осмотрел ось, исследовал место ее слома и установил два обстоятельства. Во-первых, ось была сделана не в его мастерской, так как на всех осях, которые он ставил, были крупно выгравированы его инициалы, — он не понимал, каким образом, но ось оказалась подменной; во-вторых, перелом этой подозрительной оси был вызван тем, что в металле имелась внутренняя полость, плева и раковины, искусно полученные при отливке.

— Ну, господин барон, и ловкая же бестия потрудилась над этой осью! — сказал он. — Можно было бы об заклад побиться, что все это — не что иное, как обыкновенный изъян!

Господин де Моленкур попросил каретника молчать об этом происшествии, а для себя сделал достаточно ясные выводы. Оба покушения на его жизнь были проведены с ловкостью, изобличавшей врагов незаурядных.

«Это — война не на жизнь, а на смерть, — думал он, ворочаясь в постели, — война дикарская, сулящая нападения из засады и предательства, объявленная во имя госпожи Демаре. Кто же её любовник? Какой же властью обладает этот Феррагус!»

И г-на де Моленкура, человека смелого, к тому же офицера, военного, невольно пробирала дрожь. Среди осаждавших его мыслей одна лишала его всякого мужества, и он не в силах был с ней совладать: не вздумают ли его тайные враги прибегнуть к отраве? И вот,

под влиянием страха, усугублённого болезненной слабостью, диетой и лихорадкой, он потребовал к себе старую служанку, с давних пор преданную его бабушке, а к нему питавшую почти материнские чувства, возвышенную привязанность, на какую бывают способны простые люди. Не открывая ей всего до конца, он поручил ей покупать для него тайно, притом каждый раз в новом месте, всю необходимую провизию, держать её под замком, самой готовить ему пищу так, чтобы ни живой души не было в это время поблизости, и самой подавать ему. Словом, он до мелочей предусмотрел, как уберечь себя от смертельной отравы. Он лежал в постели, одинокий, больной, и мог на свободе обдумывать те меры, которые подсказывало ему чувство самосохранения — единственная человеческая потребность, в удовлетворении которой эгоизм проявляет всю свою прозорливость. Но несчастный больной сам отравлял себя страхами, и помимо его воли подозрения все сильнее омрачали его жизнь. Однако эти два покушения заставили его оценить важнейшее для политического деятеля достоинство — высокое искусство скрывать свои мысли, к которому следует прибегать, когда затронуты жизненные интересы. Нетрудно бывает молчать, скрывать то, что уже произошло, но скрывать свои намерения, но уметь, если понадобится, отложить их осуществление на тридцать лет, подобно Али-Паше, чтобы обеспечить торжество взлелеянной мести, — вот великое искусство, особенно в нашей стране, где мало кто способен скрывать что-либо и в течение тридцати дней. Г-н де Моленкур жил только мыслью о г-же Демаре. Он только и занят был обдумыванием средств, к каким можно было прибегнуть в этой непонятной борьбе, чтобы одолеть своих непонятных противников. Все препятствия только разжигали его затаённую страсть. Г-жа Демаре по-прежнему владела его думами и чувствами; своими предполагаемыми пороками ещё сильнее пленяла его теперь, чем бесспорными добродетелями, за которые прежде он её боготворил.

Желая разведать о силах врага, больной решил, что он ничем не рискнёт, если посвятит старого видама во все подробности своей истории. Командор любил племянника баронессы, как любят собственных детей, детей от своей жены; он был хитёр в интригах, обладал тонким умом дипломата. Он выслушал барона, покачал головой, и они стали держать совет. Почтённый видам не разделял надежд своего молодого друга, полагавшего, что в их время полиция и власти способны раскрыть любую тайну и если уж к ним непременно придётся обратиться, то в них можно будет найти могущественных союзников.

Старый видам значительным тоном сказал ему:

— Дорогое дитя, на свете нет ничего бездарнее полиции, и власти бессильны в вопросах частной жизни. Ни полиция, ни власти не могут читать в глубине сердца. Казалось бы, разумно требовать от них, чтобы они расследовали причины какого-либо происшествия. Однако власти и полиция оказываются здесь совершенно беспомощны: им не хватает именно той личной заинтересованности, которая позволяет узнавать все, что бывает необходимо. Никакая человеческая сила не помешает убийце пустить в ход оружие или отраву и добраться до сердца владетельной особы или до желудка обывателя Страсти изобретательнее всякой полиции.

Командор усиленно советовал барону уехать в Италию, из Италии — в Грецию, из Греции — в Сирию, из Сирии — в Азию и вернуться оттуда, лишь дав убедиться своим тайным врагам, что он совершенно отказался от своих намерений, и таким образом молчаливо заключить с ними мир; а если не уезжать, то совершенно затвориться в своём доме, даже не выходить из комнаты, где можно уберечься от посягательств Феррагуса, и уж выйти только с тем, чтобы тут же раздавить его наверняка.

— Прикаса́ться к врагу следует только оружием, отсекая ему голову! — убеждённо сказал видам молодому человеку.

Впрочем, старик заверил своего любимца, что приведёт в действие все отпущенное ему небом лукавство и, никого не выдавая, разузнает о враге, дабы подготовить победу У командора в услужении находился некий старый Фигаро в отставке — самая продувная bestия, когда-либо принимавшая человеческий облик; он был изворотлив в былые годы, как сам сатана, владел своей мускулатурой, как каторжник, был проворен, как вор, лукав, как

женщина, — но этот гений впал в ничтожество, ибо не находил себе никакого применения с тех пор, как новое устройство парижского общества изменило амплуа комедийного слуги. Этот заслуженный Скапен поклонялся своему господину, как высшему существу; а хитрый видам ежегодно увеличивал на кругленькую сумму жалованье бывшего своего ходока по галантным делам — знак внимания, закреплявший естественную привязанность узами расчёта и обеспечивший видаму такие заботы, какие не окажет и самая нежная любовница своему больному другу. Вот этой-то жемчужине среди комедийных слуг, обломку прошлого века, этому надёжному исполнителю, не поддающемуся соблазнам из-за их отсутствия, доверились командор и г-н де Моленкур.

— Господин барон только все испортит, — сказал великий человек в ливрее, призванный на совет. — Пусть господин барон спокойно ест, пьёт и спит. Я все беру на себя.

И правда, через неделю после этого разговора, как-то днём, когда г-н де Моленкур, уже совершенно здоровый, завтракал вместе со своей бабушкой и видамом, Жюстен явился с докладом. Подождав, пока старая баронесса удалится в свои покои, он с той скромностью, какую напускают на себя талантливые люди, сообщил:

— Действительное имя врага, преследующего господина барона, — не Феррагус. Этого человека, этого дьявола зовут Грасьен-Анри-Виктор-Жан-Жозеф Буриньяр. Почтённый Грасьен Буриньяр — не кто иной, как бывший подрядчик по постройке домов, в прошлом — богач и к тому же один из самых красивых юношей Парижа, Ловлас, способный совратить самого Грандисона. Этим пока ограничиваются мои сведения. Он был простым рабочим, но в своё время собратия Ордена деворантов избрали его своим предводителем, под именем Феррагуса Двадцать третьего. Полиция должна бы это знать, если бы она вообще что-либо знала. Теперь он съехал с прежней квартиры и обретается не на улице Старых августинцев, а на улице Жокле, госпожа Демаре часто его там навещает; нередко муж её, отправляясь на биржу, провожает жену туда по улице Вивьен, или, может быть, жена, идя по улице Вивьен, провожает мужа на биржу. Господину видуму слишком хорошо знакомы подобные истории, чтобы спрашивать у меня, муж ли ведёт жену, или жена — мужа, но госпожа Демаре уж очень хороша собой, и я готов биться об заклад, что она ведёт его. Все это вполне достоверно. Буриньяр часто играет в Пале-Рояле, в номере сто двадцать девятом. Он, с вашего позволения, первостатейный распутник, любящий женщин, и у него повадки важного господина. Мало этого, ему везёт в карты, он умеет переодеваться, словно актёр, гримируется, как ему вздумается, и на всем белом свете вы не сыщете большего оригинала. Я не сомневаюсь, что у него имеется несколько квартир: ибо он большей частью избегает того, что господин командор называет *парламентскими расследованиями*. И все же, если вы, сударь, пожелаете, от него можно будет отделаться пристойным образом, сыграв на его слабых струнках. Всегда легко избавиться от человека, любящего женщин. Между прочим, этот капиталист опять собирается переезжать на новую квартиру. Теперь, господин видам и господин барон, я хотел бы знать, что от меня дальше требуется?

— Молодец, Жюстен! Я доволен тобой. Пока жди моих приказаний да следи здесь за всем, чтобы господину барону нечего было опасаться. А ты, дорогое дитя моё, — обратился видам к барону, — вернись к своим старым привычкам и забудь госпожу Демаре.

— Нет, нет! — воскликнул Огюст. — Я не хочу отступать перед Грасьеном Буриньяром, я хочу, чтобы и он и госпожа Демаре были в моей власти.

Вечером барон Огюст де Моленкур, только что получивший повышение в лейб-гвардейской части, отправился на бал к герцогине Беррийской, в Елисейский дворец Бурбонов. Там, разумеется, ему нечего было опасаться. Однако когда барон де Моленкур вышел оттуда, над ним нависла смертельная угроза в связи с одним делом чести, которое невозможно было разрешить мирным путём. Противник барона, маркиз де Ронкероль, имел все основания возмутиться поведением Огюста, у которого была давняя связь с сестрой г-на де Ронкероля, графиней де Серизи. Эта дама, отнюдь не склонная к чувствительности на немецкий лад, была тем не менее исключительно требовательна к строжайшей охране своей показной скромности. По какой-то непонятной роковой случайности Огюст позволил себе

невинную шутку, которая вызвала недовольство г-жи де Серизи и была принята её братом как оскорбление.

Договорились обо всем тихо, в стороне ото всех. Как люди благовоспитанные, оба противника не подняли никакого шума. Лишь на другой день общество предместья Сент-Оноре и Сен-Жерменского предместья, а также придворные круги заговорили об этом случае. Г-жу де Серизи горячо защищали и виновником всего считали Мо-ленкура. В дело вмешались августейшие особы. Секунданты из самой высшей знати предложили свои услуги господам де Моленкуру и де Ронкероллю, и на месте поединка были соблюдены все меры предосторожности, чтобы никто не был убит. Представ перед своим противником, искателем наслаждений, которому, однако, нельзя было отказать в чувстве чести, Огюст, конечно, не мог в нем видеть орудие Феррагуса, предводителя деворантов, но какое-то неясное желание, смутное предчувствие побудило его испытать маркиза.

— Господа, — обратился он к свидетелям, — я, разумеется, не отказываюсь от поединка с господином де Ронкеролем, но я заранее заявляю, что был не прав, что я готов принести извинения, какие он потребует, даже публично, если он того пожелает, так как полагаю, что, когда дело касается женщины, никакие извинения не могут унижить порядочного человека. Итак, я взываю к его рассудительности и великодушию: не будет ли несколько неосмотрительно драться, когда может ведь пострадать и тот, на чьей стороне правда?..

Господин де Ронкероль мириться не захотел, и барон, укрепившись в своих подозрениях, приблизился к своему противнику.

— Тогда, господин маркиз, — заявил Огюст, — прошу вас перед этими господами дать мне слово дворянина, что не тайный умысел, а лишь всем здесь известная причина вызвала этот поединок.

— Сударь, незачем возбуждать такие вопросы.

И г-н де Ронкероль стал в позицию. Заранее договорились, что каждый противник удовольствуется одним выстрелом. Несмотря на условленное расстояние между противниками, при котором, казалось, смерть г-на де Моленкура была очень сомнительна, чтобы не сказать невозможна, пуля г-на де Ронкероля попала в барона. Она прошла между рёбер, на два пальца пониже сердца, но, к счастью, не причинила серьёзных повреждений.

— Вы слишком метко стреляете для человека, мстящего за угасшие уже страсти, — заметил ему гвардейский офицер.

Господин де Ронкероль, считая Огюста мёртвым, не удержался от злорадной улыбки, услышав эти слова.

— Сударь, сестра Юлия Цезаря должна быть вне подозрений.

— Опять это имя... Юлий... Жюль... — пробормотал Огюст.

Но тут он лишился чувств, не в силах окончить язвительный каламбур, застывший у него на губах. Хотя он и потерял много крови, но рана оказалась неопасной. Две недели старая баронесса и видам окружали его своими стариковскими заботами, секрет которых даётся только длительным житейским опытом. Но как-то утром бабушка нанесла ему тяжёлый удар. Она поведала ему, какая тревога омрачила те немногие дни, что ей осталось прожить. Ей прислали письмо, подписанное буквою Ф и рассказывающее во всех подробностях историю шпионства, до которого унизился её внук. Письмо это приписывало г-ну де Моленкуру действия, недостойные порядочного человека. Там говорилось, что он подослал какую-то старуху на улицу Менар; эта сыщица торчит у стоянки фиакров, для отвода глаз продавая извозчикам воду, и следит за г-жой Демаре. Он-де шпионил за безобиднейшим человеком на свете, стараясь выведать все его тайны, тогда как от раскрытия этих тайн зависит жизнь или смерть трех человек. Он-де сам вызвал эту беспощадную борьбу, в которой, уже трижды раненный, он неизбежно падёт, ибо его поклялись умертвить и никакие человеческие силы не предотвратят теперь его гибели. Пусть г-н де Моленкур даже пообещает уважать тайну жизни этих трех лиц, ему уже не избегнуть своей судьбы, ибо нельзя доверять слову дворянина, способного так низко пасть — заняться ремеслом

полицейского сыщика. И ради чего? Чтобы, безо всякого на то права, смущать покой невинной женщины и почтённого старца.

Но что означало для Огюста это письмо по сравнению с мягкими упрёками, которыми осыпала его баронесса де Моленкур! Как мог он выказать женщине неуважение и недоверие, шпионить за ней, не имея на то никакого права! Да допустимо ли шпионить даже за любящей вас женщиной? Этот поток превосходных, ничего не доказывающих доводов впервые в жизни привёл молодого барона в полное исступление, толкающее человека на любую крайность.

«Это поединок не на живот, а на смерть, — решил он. — Что ж, теперь для меня все средства хороши, только бы уничтожить врага».

Немедленно командор отправился от имени г-на де Моленку-ра к начальнику парижской сысской полиции и — умолчав лишь о г-же Демаре, хотя она и была скрытой причиной этих происшествий, — поделился с ним опасениями, возбуждёнными у семейства де Моленкуров неизвестным лицом, дерзко поклявшимся убить гвардейского офицера, невзирая на закон и полицию. Полицейский в недоумении поднял на лоб свои зеленые очки, несколько раз высморкался и предложил табакерку видаму, который с достоинством заявил, что не нюхает табака, хотя его нос свидетельствовал об обратном. Затем заместитель начальника полиции кое-что записал и пообещал, что с помощью Видока и его сыщиков он в скором времени передаст семейству де Моленкуров исчерпывающие сведения об их враге, так как для парижской полиции не существует никаких тайн. Через несколько дней начальник полиции посетил видама в доме де Моленкуров и нашёл молодого человека совершенно оправившимся от последней раны. Начальник полиции официально поблагодарил за любезно предоставленные ему данные; рассказал, что этот самый Буриньяр был осуждён на двадцать лет каторжных работ, но каким-то чудом бежал во время пересылки по этапу из Би-сетра в Тулон. Вот, мол, уже тринадцать лет, как полиция, узнав, что он совершенно спокойно поселился в Париже, безуспешно пытается его задержать, а он ускользает от самых настойчивых розысков, хотя и оказывается постоянно замешанным во всевозможные тёмные дела. Одним словом, этот человек, жизнь которого столь необычна, теперь, мол, непременно будет задержан на одной из его квартир и передан в руки правосудия. Чиновник закончил свой торжественный отчёт, сообщив г-ну де Моленкуру, что если он придаёт такое большое значение этому делу и желал бы присутствовать при поимке Буриньяра, то может явиться завтра в восемь часов утра на улицу Сент-Фуа, в дом под таким-то номером. Г-н де Моленкур уклонился от роли очевидца, доверившись бдительности властей с тем благоговейным почтением, с каким относится парижанин к полиции. Спустя три дня, не находя в газетах ни слова об аресте, который, казалось, мог бы послужить материалом для занятной заметки, г-н де Моленкур впал в беспокойство, рассеянное, однако, после получения следующего письма.

«Господин барон!

Имею честь довести до вашего сведения, что вам не приходится более опасаться известного вам лица. Лицо это, именуемое Гра-сьеном Буриньяром, по прозвищу Феррагус, скончалось вчера у себя на квартире, на улице Жокле, № 7. Подозрения, возникшие относительно его личности, совершенно опровергнуты достоверными данными. К экспертизе был привлечён нами, кроме врача мэрии, ещё и врач парижской префектуры, а начальник сысского отделения подверг все данные необходимой проверке, дабы добиться полной достоверности. Притом благонадёжность свидетелей, подписавших акт о смерти, равно как и показания лиц, бывших при вышепоименованном Буриньяре в последние минуты его жизни, в том числе достопочтенного vicarier церкви Благовещения, коему он исповедовался перед смертью в своих прегрешениях, ибо умер христианином, — не оставляют места для каких-либо сомнений.

Примите, господин барон, и пр. »

Господин де Моленкур, старая баронесса и видам вздохнули с невыразимым облегчением. Старушка облобызала внука, пролила слезу и рассталась с ним только для того, чтобы молитвой возблагодарить Господа. Почтённая вдова, девять дней перед тем проведшая в посте и в молитвах о спасении Огюста, решила, что Господь её услышал.

— Ну, что же! — сказал командор. — Теперь ты можешь ехать на тот бал, о котором мне говорил, теперь я не возражаю.

Господин де Моленкур тем сильнее стремился на бал, что туда должна была приехать г-жа Демаре. Праздник этот устраивал сенский префект, и у него, как бы на нейтральной почве, встречались оба круга парижского общества. Огюст заглянул во все гостиные, но не встретил там женщины, оказавшей на его жизнь столь значительное влияние. Он вошёл в пустой будуар, где в ожидании игроков были поставлены карточные столы, и присел там на диван, предаваясь самым противоречивым мыслям о г-же Демаре. Вдруг кто-то взял молодого офицера под руку, и барон застыл в изумлении, увидав перед собой бедняка с улицы Кокильер — Феррагуса, которому писала Ида, — жителя улицы Соли — Буриньяра, открытого Жюстенном, — каторжника, опознанного полицией, — вчерашнего покойника!

— Сударь, молчите, ни единого крика, ни единого слова, — сказал ему Буриньяр, голос которого, изменённый почти до неузнаваемости, он все же узнал.

Буриньяр был элегантно одет, фрак его украшали орден Золотого руна и звезда.

— Сударь, — продолжал он резким, словно вой гиены, шёпотом, — вы развязываете мне руки, призвав себе на помощь полицию. Вы, сударь, обречены на гибель. Так надо. Любите ли вы госпожу Демаре? Любила ли она вас? По какому праву позволяете вы себе нарушать её покой, чернить добродетельную женщину?

Кто-то вошёл в комнату, Феррагус встал, чтобы выйти.

— Знаете ли вы этого человека? — обратился г-н де Моленкур к вошедшему, взяв Феррагуса за ворот.

Но Феррагус легко высвободился, схватил Огюста за волосы и, потешаясь над ним, несколько раз встряхнул ему голову, насмешливо приговаривая:

— Неужели не обойтись без свинца, чтобы её образумить?

— Нет, сударь, я с ним не знаком, — ответил Огюсту г-н де Марсе, свидетель этой сцены, — я только знаю, что перед вами господин де Функал, весьма богатый португалец.

Господин де Функал скрылся. Барон бросился за ним, но так и не догнал и только с подъезда увидел Феррагуса, который с насмешкой поглядел на него из своей великолепной коляски и унёсся по улице.

— Сударь, прошу вас, — сказал Огюст, вернувшись в гостиную и обращаясь к де Марсе, с которым был знаком, — скажите мне, где живёт этот господин де Функал?

— Не знаю, право, но здесь вам, наверное, укажут.

Барон, расспросив префекта, узнал, что граф де Функал проживает в португальском посольстве. В эту минуту, ещё ощущая у себя в волосах ледяные пальцы Феррагуса, он увидел г-жу Демаре во всем блеске её красоты, свежую, грациозную, простодушную, сияющую той чистой прелестью, что очаровала его когда-то. Это создание, которое Огюст считал теперь исчадием ада, не возбуждало уже в нем ничего, кроме ненависти, — и грозная, жаждущая крови ненависть изливалась в его взгляде. Он улучил минуту, чтобы поговорить с молодой женщиной наедине, без свидетелей.

— Сударыня, — заявил он, — вот уже в третий раз подосланные вами убийцы покушаются на мою жизнь...

— О чем вы говорите, сударь? — ответила она краснея. — Я знаю, вы стали жертвой нескольких несчастных случаев, я очень сочувствовала вам, но при чем тут я?

— Вы же знаете, что ко мне подсылает убийц некий человек с улицы Соли?

— Сударь!

— Сударыня, теперь не один я буду требовать у вас ответа, и не только за моё счастье, но и за мою кровь.

В эту минуту к ним подошёл Жюль Демаре:

— В чем дело? Что вы сказали моей жене, сударь?

— Если это вас так интересует, сударь, придётся вам заехать ко мне домой.

И Моленкур вышел, оставив г-жу Демаре смертельно бледной и близкой к обмороку.

Мало найдётся женщин, которым хотя бы раз в жизни не случилось из-за какого-нибудь неоспоримого факта подвергаться со стороны мужа беспощадному, решительному, исчерпывающему допросу, такому, что при одной мысли о нем охватывает душу холодом, а первые слова его входят в сердце острой сталью кинжала. Отсюда и аксиома: «Каждая женщина лжёт!» Льстивая ли ложь, простительная ложь, святая ложь, страшная ложь — но ложь ей необходима. А раз она необходима, то необходимо овладеть искусством лжи. Женщины во Франции восхитительно лгут. Наши нравы превосходно приучают их к обману. Притом женщины так наивно дерзки, очаровательны, изыщны, откровенны во лжи, так хорошо понимают её пользу в общении с людьми — при защите от потрясений, губельных для счастья, — что ложь становится нужна им, как вата, в которую они кладут свои драгоценности. Так ложь становится для них основой речи, а правда — только исключением из правила; они говорят правду так же, как проявляют добродетель, — из прихоти или по особому расчёту. Затем, когда женщины лгут, то, смотря по характеру, некоторые из них смеются, иные плачут, одни становятся серьёзными, а другие — злыми. Сперва приучившись притворяться равнодушными к поклонению, которое им особенно льстит, они нередко кончают тем, что привыкают лгать самим себе. Кто не восхищался их обманчивым величием в ту самую минуту, когда они дрожат за тайные сокровища своей любви? Кто не наблюдал их непринуждённость, развязность, присутствие духа в житейских испытаниях? Все в них естественно; ложь исходит от них, как снег падает с неба. А с каким искусством добиваются они до правды в другом человеке! С какой пронизательностью прибегают они к самой последовательной логике в ответ на пылкие вопросы мужчины, чтобы самой выпытать какую-нибудь сердечную тайну у того, кто наивно вздумал дознаться о чем-нибудь у женщины! Расспрашивать женщину — не значит ли это выдавать ей себя с головой? Разве не догадается она обо всем том, что захотят от неё скрыть, и не проявит удивительного умения — говоря, умолчать о самом главном. И есть же ещё мужчины, пытающиеся бороться с парижанкой, с женщиной, которой стоит изловчиться — и она ускользнёт от удара кинжала, сказав: *«Вы, право, слишком любопытны! Вам что за дело? К чему вам это? Ах! вы ревнуете? Ну, а если я не пожелаю вам отвечать?»* — словом, с женщиной, которая владеет искусством сказать «нет» на сто тридцать семь тысяч ладов и обладает неисчислимыми интонациями для произнесения «да». Исследование, посвящённое этим «нет» и «да», не станет ли замечательнейшим из дипломатических, философических, логографических и этических трудов, которые нам ещё предстоит создать? Но для того, чтобы написать столь дьявольское произведение, не надо ли быть двуполым гением? Вот почему никто никогда и не возьмётся за это. Кроме того, из всех неопубликованных теорий эта теория, пожалуй, самая популярная, наиболее часто применяемая на практике женщинами. Наблюдали ли вы при этом их повадки, позы, непринуждённость? Присмотритесь.

Госпожа Демаре сидела в правом углу кареты, а её муж в левом. Овладев собой при выходе с бала, жена Жюль сохраняла внешнее спокойствие. Муж не задал ей ни единого вопроса на балу, продолжал молчать и теперь. Он смотрел в окно кареты на чёрные стены молчаливых домов, мимо которых они проезжали; но внезапно, словно побуждённый какой-то мыслью, при повороте на углу улицы он взглянул на жену, которая, казалось, озябла, несмотря на подбитую мехом шубку; ему почудилось, что она вся ушла в свои думы, — вероятно, так оно и было. Самые заразительные настроения, легче всего передаваемые другим, это — задумчивость и серьёзность.

— Чем так встревожил тебя господин де Моленкур? Что он такое сказал? — спросил Жюль. — Что намерен он сообщить мне у себя дома?

— Да ничего он тебе не скажет, кроме того, что я сама могу сейчас сказать, — ответила она.

И с чисто женской хитростью, которою даже добродетель всегда бывает слегка запятнана, г-жа Демаре замолчала, ожидая нового вопроса. Муж отвернулся и снова принялся разглядывать подъезды домов. Ещё один только вопрос — и не будет ли это уже равносильно подозрению? Не верить женщине — преступление против любви. Жюль уже раз убил человека, но не позволил себе усомниться в жене. Клеманс не подозревала, сколько истинной страсти, сколько глубоких размышлений таило молчание мужа, и Жюль не догадывался, какая необычайная драма раздирала сердце Клеманс. А карета все катила и катила по безмолвному Парижу, унося двух супругов, двух любовников, которые боготворили друг друга, но, сидя рядом на шёлковых подушках экипажа и слегка касаясь один другого, все же были разделены целой пропастью.

Сколько удивительных сцен разыгрывается после бала, между полночью и двумя часами ночи, в нарядных колясках — даже если фонари их зажжены, освещая улицу и сам экипаж, а стекла не задёрнуты занавесками, — словом, в тех колясках, где находит себе пристанище узаконенная любовь, где муж и жена ссорятся, не боясь глаза прохожих, ибо законный брак даёт право мужчине сердиться на женщину, бить её и целовать в карете и вне её, повсюду!

И вот, сколько тайн раскрывается перед ночной «пехотой» — молодыми людьми, приезжающими на бал в карете, но, по каким-то причинам, уходящими с бала пешком. Впервые Жюль и Клеманс забились каждый в свой угол. Обычно муж и жена сидели, прижавшись друг к другу.

— Как холодно! — пожаловалась г-жа Демаре.

Но муж ничего не слышал, все внимание его поглотили чернеющие вывески лавок.

— Клеманс, — сказал он наконец, — прости меня, я должен спросить тебя кое о чем...

Он придвинулся к ней, обнял её за талию и привлёк к себе. «Господи, вот оно!» — подумала несчастная женщина.

— Хорошо! — перебила она мужа, чтобы предупредить его вопрос. — Тебя интересует, что мне говорил господин де Моленкур. Я ничего не скрою от тебя, Жюль, но мне страшно. Боже мой, разве у нас могут быть тайны друг от друга! С некоторого времени я чувствую, что в тебе происходит борьба между верой в нашу любовь и какими-то смутными опасениями; но разве вера в нашу любовь не чиста, а твои подозрения не слишком мрачны? Отчего ты не хочешь сберечь эту чистую веру, в которой для тебя столько радости? Когда я все расскажу, ты захочешь знать больше; а между тем мне самой непонятен смысл странных слов этого человека. Я боюсь, не станут ли они поводом к роковому столкновению между вами. Я хотела бы, чтобы мы оба вычеркнули этот тягостный случай из нашей жизни. Но так или иначе поклянись мне, что будешь ждать, пока это странное происшествие не объяснится само собой. Господин де Моленкур заявил мне, будто происшедшие с ним три несчастных случая, о которых ты знаешь: падение камня, попавшего в лакея, поломка кабриолета и дуэль из-за госпожи де Серизи — все это осуществление какого-то заговора против него, заговора, вдохновляемого мною. Он грозил мне ещё, что откроет тебе причину, почему я добиваюсь его гибели. Ты хоть что-нибудь во всем этом понял? Меня испугало его лицо, носившее печать безумия, его блуждающий взгляд, его срывающийся от волнения голос. Я подумала, что он сошёл с ума. Вот и все. Признаюсь, ещё я заметила — да и какая женщина не заметила бы на моем месте! — что вот уже год, как я стала, что называется, предметом страсти господина де Моленкура. Он встречал меня лишь на балах, и разговоры его ничем не отличались от обычных, пустых бальных разговоров. Может быть, он хочет разлучить нас, чтобы затем воспользоваться моим одиночеством и беззащитностью. Вот видишь, ты уже хмуришься! Ах, я всем сердцем ненавижу свет! Какое счастье жить вдали от света! И зачем добиваться нам его милостей? Жюль, умоляю тебя, обещай, что все это выкинешь из головы. Завтра, наверное, станет известно, что господин де Моленкур сошёл с ума.

«Что за странность!» — подумал Жюль, выходя из кареты у подъезда своего дома.

Он подал руку жене, и они вместе поднялись к себе.

Для продолжения этой истории во всей правдивости её деталей, для исследования её

течения во всех излучинах необходимо затронуть некоторые любовные тайны; необходимо, прячась за портьерами, проникнуть в одну спальню и скрыться за занавесами — не дерзостно, а на манер Трильби, чтоб не потревожить ни Дугала, ни Дженни, да вообще никого не потревожить. Необходимо сохранить в своём рассказе и целомудренность, к какой стремится благородный французский язык, и смелость, какая присуща Жерару в его картине «Дафнис и Хлоя».

Спальня г-жи Демаре была святилищем. Входить туда могли только она сама, муж и горничная. Богатство обладает прекрасными преимуществами, и самые завидные из них те, что позволяют развиваться чувству во всей его глубине, оплодотворяют его тысячей осуществлённых причуд, наделяют блеском, который его усиливает, изысканностью, которая очищает, утончённостью, которая придаёт ему ещё большую привлекательность. Если вам ненавистны обеды на траве лужайки и плохо сервированный стол, если вы испытываете удовольствие при виде камчатной скатерти ослепительной белизны, золочёных приборов, нежнейшего фарфора, стола, блестящего золотом и богатой чеканкой, освещённого прозрачными свечами; если вы испытываете удовольствие при виде чудес самой тонкой кухни, которые таятся под серебряными крышками, украшенными гербом, — вы должны, чтобы не впасть в противоречие, забыть мансарды, забыть гризеток, предоставив мансарды, гризеток, зонтики, деревянные калоши людям, которые оплачивают свои обеды талонами; затем, вы должны понять, что любовь раскрывается во всей своей прелести только на савоннрийских коврах, под опаловым светом мраморной лампы, среди обитых шёлком стен, ревниво охраняющих вашу тайну, в золотых отблесках камина, в комнате, защищённой от шума соседей и улицы, от всего постороннего своими жалюзи, ставнями, волнующимися занавесами. Вам нужны зеркала, игра их отражений, до бесконечности воспроизводящих женщину, которую вы желали бы видеть во всем её роскошном разнообразии, нередко придаваемом любовью; вам нужны, кроме того, низкие диваны; скрытая, но манящая, словно тайна, кровать; меха для обнажённых ног; под кисейным пологом кровати — свеча с абажуром, чтобы можно было читать в любой час ночи; цветы с нежным, не раздражающим ароматом и тончайшее полотно, способное удовлетворить даже Анну Австрийскую. Подобные восхитительные требования осуществила г-жа Демаре. Но это ещё не все. Они могли быть осуществлены любой женщиной со вкусом, хотя, впрочем, уже расположение всего убранства придавало комнате какой-то особенный отпечаток, неповторимый личный характер. В наши дни как никогда распространено фанатическое преклонение перед индивидуальностью. Чем больше наши законы стремятся к недостижимому равенству, тем больше удаляются от него наши нравы. Так, богатые люди во Франции проявляют больше исключительности во вкусах и в обстановке, чем когда-либо за последние тридцать лет. Г-жа Демаре понимала, к чему обязывает её это, и привела у себя все в полную гармонию с требованиями роскоши, украшающей любовь. «Полторы тысячи франков, и Софи моя» или «С милым рай и в шалаше» — это изречения голодных, тех, кто с радостью принимают сначала и кроху простого хлеба, но, войдя во вкус, становятся лакомками и, если действительно любят, начинают тосковать по гастрономическим усадом. Любовь не терпит труда и нужды. Она предпочитает погибнуть, лишь бы не прозябать.

Большинство женщин, возвратившись с бала и торопясь поскорее улечься в постель, раскидывают повсюду платье, увядшие цветы, букеты, утерявшие свой аромат. Они забывают свои башмаки под креслом, расхаживают в домашних туфлях, которые падают у них с ног, вынимают из причёски гребни, небрежно распускают косы. Их мало смущает, что мужья видят застёжки, двойные булавки, крючки — то, что искусно поддерживало изящные сооружения причёски или наряда. Не остаётся никаких тайн, все рушится на глазах мужа, все прикрасы исчезают. Корсет — большей частью со всякими ухищрениями — так и валяется тут же, если сонная горничная забудет его унести. Наконец, фижмы из китового уса, подшитые к проймам подмышники, всякие лживые приспособления наряда, волосы, купленные у парикмахера, — все здесь на виду; вся искусственная женщина, разъятая на части, — *Disjcta membra poetae* — поддельная поэзия, столь восхищавшая тех, для кого она

создавалась и отделялась, женская краса — валяется по всем углам. Позёвывающему мужу предоставляется тогда любить женщину без прикрас, которая тоже позевывает; у неё неряшливый и неизящный вид; на голове у неё смятый чепчик, тот самый, который был на ней вчера и будет на ней завтра.

— Если же вам, сударь, угодно каждый вечер мять мне новый хорошенький чепчик, то раскошелитесь! — говорит она мужу.

Вот она, жизнь, в её настоящем обличье! Перед своим мужем жена всегда предстаёт старой и некрасивой; зато она неизменно нарядна, изящна, украшена драгоценностями для другого, для соперника всех мужей — для света, который клеветает на женщин и всячески злословит на их счёт.

Вдохновляемая истинной любовью — ибо любовь, как и все живое, обладает инстинктом самосохранения, — г-жа Демаре вела себя совсем по-иному и обретала в постоянных радостях своей семейной жизни необходимые силы для выполнения тех мелких обязанностей, которыми никогда нельзя пренебрегать, ибо они сохраняют любовь. Не проистекают ли эти заботы, эти старания из чувства собственного достоинства, которым следует восхищаться? Разве они не льстят самолюбию мужа? Не означают ли они, что жена уважает в себе самой любимое существо? Так, г-жа Демаре запретила мужу заглядывать в комнату при спальне, когда она снимала бальный туалет, чтобы выйти оттуда в волшебном одеянии, предназначенном для волшебных празднеств её сердца. Входя в спальню, всегда красиво и со вкусом убранную, Жюль видел женщину, кокетливо закутанную в нарядный пеньюар, с просто уложенными вокруг головы толстыми косами, ибо она смело показывала свои волосы в их естественном виде, чтобы можно было наслаждаться, любясь ими и прикасаясь к ним; он видел её ещё более простой и потому ещё более привлекательной, чем в свете; он видел женщину, освежившую себя водой, женщину, у которой весь секрет её привлекательности сводился к тому, чтобы быть белее своих кисейных одежд, свежее самых свежих благовоний, обольстительнее самой искусной куртизанки — словом, быть всегда приятной, а следовательно, всегда любимой. Это восхитительное понимание женского искусства нравиться было тайной силой Жозефины, пленившей Наполеона, как некогда Цезония пленила Гая Калигулу, а Диана де Пуатье — Генриха II. Но если это искусство приносило столь благие плоды женщинам, насчитывающим семь или восемь пятилетий своей жизни, то каким же оружием становится оно в руках молодости! В таких условиях муж только наслаждается под игом супружеского счастья.

Итак, г-жа Демаре, вернувшись домой после разговора, который заставил её леденеть от ужаса, и вся ещё во власти сильнейшей тревоги, особенно тщательно занялась своим ночным туалетом. Она хотела быть, и в самом деле была, восхитительной. Она закуталась в батистовый пеньюар, приоткрыв его на груди, распустила чёрные волосы по округлым плечам; после душистой ванны от неё исходил пьянящий аромат, ножки её были в бархатных туфлях без чулок. Сильная своим очарованием, она потихоньку вошла в спальню и подкралась к Жюлю, который стоял в халате, задумчиво облокотившись на камин и опершись ногою на его решётку; она закрыла ему рукой глаза. Приблизив свои губы к его уху, пытаясь шутливо укусь его и согреть своим дыханием, она сказала:

— О чем это вы задумались, сударь?

Затем, мягко прильнув к нему, она обвила его руками, стараясь отвлечь от грустных мыслей. Любящая женщина понимает свою силу, и чем добродетельнее она, тем действеннее её кокетство.

— Я думал о тебе, — ответил он.

— Только обо мне? — Да.

— Ах, это очень ненадёжный ответ.

Они легли. Засыпая, г-жа Демаре подумала: «Этот Моленкур, наверное, принесёт нам какую-нибудь беду. Жюль озабочен, рассеян, скрывает от меня свои мысли».

Около трех часов ночи г-жа Демаре проснулась, разбуженная каким-то предчувствием, охватившим её душу во сне. Сердцем и телом ощутила она, что нет около неё мужа. Она не

чувствовала больше у себя под головой руки Жюль, той руки, на которой она обычно отдыхала счастливая и спокойная, никогда её не утомляя, вот уже пять лет. Вдруг какой-то голос подсказал ей: «Жюль страдает, Жюль плачет...» Она подняла голову, села на кровати, увидела, что рядом с ней нет мужа, ощутила холод постели на его стороне и заметила Жюля у камина — он сидел, поставив ноги на решётку и откинув голову на спинку кресла. По лицу Жюля текли слезы. Несчастная женщина соскочила с постели и в один миг очутилась у него на коленях.

— Жюль, что с тобою? Ты страдаешь? Говори же, перестань молчать! Все, все мне скажи! Не скрывай ничего, если любишь меня!

В минуту она закидала его сотней слов, выражавших самую глубокую нежность.

Жюль упал к ногам своей жены, покрыл поцелуями её колени и руки и сказал, проливая все новые слезы:

— Дорогая моя Клеманс, я так несчастен! Разве это любовь, когда сомневаешься в своей возлюбленной? А ты для меня — возлюбленная. Я поклоняюсь тебе и вместе с тем подозреваю... Слова, которые произнёс сегодня этот человек, поразили меня в самое сердце, они запечатлелись в нем вопреки моей воле и терзают меня. Тут кроется какая-то тайна. Прости, я краснею, признаваясь тебе в этом, но твои объяснения меня не успокоили. Разум подсказывает мне догадки, которые отвергает моя любовь. Что за мучительная борьба! Мог ли я оставаться возле тебя, положив руку тебе под голову и подозревая, что в этой голове таятся неведомые мне мысли? Ах! я тебе верю, верю, — вскрикнул он с живостью, заметив, что она грустно улыбнулась и хотела что-то возразить ему. — Не говори ничего, не упрекай меня. Одно твоё слово может меня убить. И разве скажешь ты мне что-нибудь, чего я не твержу себе сам в течение уже трех часов? Да, целых три часа я просидел здесь, глядя, как ты спишь. Ты так прекрасна, я восхищаюсь твоим челом, таким чистым, таким безмятежным. Да, да! ты никогда ничего от меня не скрывала, не так ли? Я один в твоей душе? Созерцая тебя, погружая свои глаза в твои, я все вижу в них. Жизнь твоя всегда так же чиста, как твой взор. Нет, никакой тайны не скрывают эти чистые очи.

Он вскочил с колен, чтобы поцеловать её в глаза.

— Позволь открыться тебе, моя радость. Вот уже пять лет, как моё счастье росло день за днём от сознания, что ты не знаешь ни одной из тех естественных привязанностей, которые всегда что-нибудь отнимают у любви. У тебя не было ни сестры, ни отца, ни матери, ни подруги, я никого не вытеснял из твоего сердца, никому не уступал его: я царил в нем один. Клеманс, одари меня теми ласковыми словами, которые я так часто от тебя слышал, не брани меня, дорогая, успокой меня, я несчастен. Да, конечно, я виновен в низких подозрениях, тогда как твоё сердце совершенно спокойно. О бесконечно любимая, скажи, разве я мог оставаться возле тебя? Да разве могли наши головы лежать, как бывало, на одной подушке, когда одну мучают сомнения, а другая безмятежна... О чем ты думаешь? — порывисто воскликнул он, заметив, что Клеманс пришла в смятение и, терзаясь какой-то мыслью, залилась слезами.

— Я думаю о матери, — с печалью ответила она. — Тебе не понять, Жюль, как мучительно для твоей Клеманс вспоминать последнее прощание с матерью, слушая твой голос, эту сладчайшую музыку, вспоминать предсмертное пожатие её холодеющих рук, чувствуя, как твои руки расточают мне ласки упоительной любви.

Она подняла своего мужа, обняла его и с нервическою силой, превышающей силу мужчины, прижала к своей груди, целуя его волосы и обливаясь слезами.

— Ах, пусть четвертуют меня, был бы только ты счастлив! Скажи мне, что ты счастлив со мною, что я для тебя прекраснейшая из женщин, что все женщины заключены для тебя во мне. Да ведь ничья любовь не сравнится с моей любовью. Что для меня слова *долг* и *добродетель*? Я люблю тебя, Жюль, ради тебя самого, я счастлива, что люблю, — и буду любить тебя все сильнее и сильнее до последнего моего вздоха. Я горжусь моей любовью, я верю — мне суждено испытать в жизни только одно чувство. Ужасно, быть может, то, что я тебе скажу: я рада, что у меня нет детей, и я их не хочу. Я больше жена, чем мать. Тебя

мучают страхи? Послушай, возлюбленный мой, обещай мне все забыть — нет, не этот час нежности и сомнений, но слова того безумца. Обещай мне не видеться с ним, не ходить к нему. Я убеждена, что сделай ты ещё только шаг в этом лабиринте — и мы свергнемся в пропасть, и я там погибну, с твоим именем на устах, с твоим сердцем в моем сердце. Почему ты так возносишь меня в своей душе и так низко ставишь в жизни? Ты так доверчиво открываешь кредит стольким людям, а ради меня не можешь хотя бы из милости пожертвовать какими-то случайными подозрениями; и когда ты, первый раз в жизни, мог бы доказать свою безграничную веру в меня, ты низвергаешь меня с престола твоего сердца? Ты веришь не мне, а какому-то безумцу. Ах, Жюль, Жюль! — Она остановилась, отбросила волосы, ниспадавшие ей на лоб и грудь, и раздирающим душу голосом прибавила: — Незачем было мне так много говорить, достаточно и одного слова. Помни, Жюль, если хоть лёгкое облачко будет омрачать твою душу, твоё чело, я умру!

Она не в силах была преодолеть дрожь и побледнела. «Да, я убью этого человека», — мысленно решил Жюль, поднял на руки жену и отнёс её на кровать.

— Спи спокойно, мой ангел, — сказал он ей, — я все забыл, клянусь тебе!

Клеманс заснула, успокоенная этими нежными словами, которые муж повторил ей ещё ласковой. И Жюль подумал, любуясь спящей женой: «Она права! Когда любовь так чиста, подозрение её губит. Да, если хоть слегка ранить эту непорочную душу, этот лилейный цветок — то все кончено, Клеманс умрёт».

Стоит хотя бы на краткий миг между двумя любящими существами, живущими одной общей жизнью, возникнуть малейшему облачку — и в них останется от него неизгладимый след. Либо их любовь становится ещё более страстной, как природа становится прекраснее после дождя, либо в сердце у них все не смолкает тревога, подобно отдалённому грому, продолжающему звучать и тогда, когда небо над головой прояснилось; вернуться к прежней жизни невозможно, любовь должна или возрасти, или зачахнуть. За завтраком г-н и г-жа Демаре проявляли друг к другу обычную заботливость, но она была как бы несколько принуждённой. Они обменивались взглядами, полными почти вымученной весёлости, взглядами людей, старающихся обмануть самих себя. Жюля мучили невольные сомнения, жену его — страхи перед несомненной опасностью. А ведь ночью они уснули спокойно, доверяя друг другу. Происходила ли их стеснённость от недостатка взаимного доверия или от воспоминания о ночной сцене? Они и сами того не знали. Но они любили друг друга прежде, любили и теперь столь чистой любовью, что жестокое и в то же время благотворное впечатление этой ночи не могло пройти для них бесследно; оба ревностно стремились загладить его, и каждый хотел сделать первый шаг навстречу другому. Однако они не в силах были не думать о первой причине их первой размолвки. Для любящих душ это ещё не горе, страдания ещё далеки; но это уже своеобразный траур души, не поддающийся описанию. Если существует соотношение между красками и душевными движениями, если, как поясняет слепец у Локка, алый цвет должен действовать на зрение, как фанфары — на слух, то эту отражённую меланхолию позволительно сравнить с гаммой серых красок. Но любовь огорчённая, однако не утерявшая истинного ощущения счастья, лишь мимолётно потревоженного, дарит неизведанные наслаждения, полные муки и радости. Жюль вслушивался в голос жены, ловил её взгляд с тем же молодым чувством, которое одушевляло его в первые дни их любви. И вот воспоминания о пяти годах безоблачного счастья, красота Кле-манс, чистота её любви быстро стёрли последние следы нестерпимой муки. Наступивший день был воскресеньем, когда закрыта биржа и нет деловых встреч; муж и жена провели его вместе, ещё более душевно сблизившись, словно двое испуганных детей, которые тесно прижимаются друг к другу и инстинктивно ищут друг у друга защиты. При жизни вдвоём иногда выпадают дни полного счастья, дарованные случаем, не связанные ни с прошлым, ни с будущим, цветы-однодневки!.. Жюль и Клеманс упоительно насладились этим днём, словно предчувствуя, что то последний день их любви. Как назвать неведомую силу, которая понуждает путников ускорить шаг перед грозой, хотя никаких явных признаков грозы ещё нет; озаряет последние дни умирающего сиянием жизни и красоты и

побуждает его строить самые радостные планы; заставляет учёного усилить свет своей лампы, хотя она ещё достаточно ярко ему светит; внушает матери страх перед слишком пристальным взглядом, брошенным на её ребёнка пронизательным человеком? Все мы испытывали такое чувство перед большими потрясениями в нашей жизни, но мы не нашли ещё ему имени и не изучили его; это — больше чем предчувствие, хотя ещё и не ясновидение.

Все шло прекрасно до следующего дня. В понедельник Жюль Демаре, обязанный явиться в обычный час на биржу, по привычке, прежде чем выехать из дому, спросил жену, не нужен ли ей экипаж.

— Нет, — ответила она, — нынче слишком скверная погода.

Действительно, шёл проливной дождь. В третьем часу г-н Демаре отправился в суд и казначейство. В четыре часа, при выходе с биржи, он столкнулся лицом к лицу с г-ном де Моленкуром, поджидавшим его с тем лихорадочным упорством, которое свойственно ненависти и жажде мести.

— Сударь, я должен сообщить вам важные сведения, — сказал офицер, беря под руку биржевого маклера. — Я слишком, знаете ли, прямодушен, чтобы прибегать к анонимным письмам, которые нарушили бы ваш покой, я предпочитаю поговорить с вами. И поверьте мне, если бы жизнь моя не была под угрозой, я ни за что не стал бы вмешиваться в ваши семейные дела, даже имей я на это все права.

— Если вы собираетесь говорить со мной о госпоже Демаре, — ответил Жюль, — то попрошу вас, сударь, замолчать.

— Если я замолчу, сударь, то вы очень скоро увидите госпожу Демаре на скамье подсудимых, рядом с каторжником. Потребуется ли вы и теперь, чтобы я молчал?

Жюль побледнел, но сразу же овладел собою, придав своему красивому лицу напускное спокойствие; он увлёк офицера под один из навесов здания временной биржи, где они встретились, и сказал голосом, в котором чувствовалось тайное волнение:

— Сударь, я вас выслушаю, но предупреждаю — я вызову вас на дуэль, и мы сразимся не на жизнь, а на смерть, если...

— О, я согласен на это! — воскликнул г-н де Моленкур. — Я питаю к вам глубочайшее уважение. Вы упомянули о смерти, сударь? Вы, разумеется, и не подозреваете, что, быть может по приказанию вашей жены, я был отравлен в субботу вечером. Да, сударь, вот уже третий день, как со мною творится что-то странное: от корней волос сквозь череп в меня проникает какая-то лихорадка, какое-то смертельное изнеможение, а я прекрасно знаю, что за человек третьего дня, на балу, коснулся моих волос!

Господин де Моленкур рассказал, не опуская ничего, и о своей платонической любви к г-же Демаре, и о подробностях происшествия, с которого начинается эта история. Каждый выслушал бы его с не меньшим вниманием, чем биржевой маклер, но муж г-жи Демаре, естественно, должен был удивляться сильнее всякого другого. Тут проявился его характер, он был скорее изумлён, чем подавлен. Став судьёй — и судьёй обожаемой женщины, — он нашёл в своей душе прямоту, приличествующую судье, и проникся его непреклонностью. Оставаясь ещё влюблённым, он меньше думал о своей разбитой жизни, чем о жизни этой женщины, он прислушивался не к собственному горю, а к далёкому голосу, взывающему к нему: «Клеманс не могла бы лгать! Зачем станет она изменять тебе?»

— Сударь, — добавил гвардейский офицер, кончая свой рассказ, — в субботу вечером в господине де Функале я обнаружил Феррагуса, того самого Феррагуса, которого полиция считает умершим, и тотчас же я послал одного смышлённого человека проследить за ним. Вернувшись домой, я по какой-то счастливой случайности вспомнил фамилию госпожи Менарди, упомянутую Идой в письме к моему преследователю, который, несомненно, является любовником Иды. Руководствуясь столь скудными данными, мой лазутчик скоро представит отчёт об этой странной истории, так как он искуснее в подобных розысках, чем любая полиция.

— Сударь, — ответил маклер, — не знаю, как вас благодарить за откровенность. Вы

обещаете мне доказательства, свидетелей. Я буду их ждать. Я буду мужественно добиваться истины в этом необычайном деле, но вы разрешите мне сомневаться до тех пор, пока истинность обвинений не будет доказана. Так или иначе вы получите удовлетворение, ведь вы понимаете, что оно необходимо.

Жюль возвратился домой.

— Что с тобой, Жюль? — спросила жена. — Ты так бледен, на тебе лица нет.

— На дворе холодно, — сказал он, медленно прохаживаясь по комнате, где все говорило о счастье и любви, по тихой комнате, в которой нарастала смертельная буря. — Ты не выходила сегодня из дому? — спросил он как будто невзначай.

Вероятно, задать этот вопрос его побудила последняя из тысячи тайных мыслей, возникших в его сознании, удивительно ясном, хотя и разгорячённом ревностью.

— Нет, — ответила она с наигранным простодушием.

В эту минуту Жюль увидел в гардеробной бархатную шляпку жены для утренних прогулок — на шляпке было несколько капель дождя. Г-н Жюль был человек вспыльчивый, но душевно мягкий — уличать жену во лжи было ему тяжело. При таких обстоятельствах между некоторыми людьми все бывает покончено навсегда. Тем не менее при виде этих капель словно луч света мучительно пронзил его мозг. Он вышел из спальни, спустился в каморку привратника и, предварительно убедившись в том, что они одни, сказал ему:

— Фукеро, если скажешь правду, я обеспечу тебе сто экю годового дохода, если солжёшь, выгоню, а если хоть и скажешь правду, но не будешь держать язык за зубами, не дам ни гроша. — Он замолчал, стараясь получше взглянуть в лицо привратника, которого подвёл к окну, а затем продолжал: — Барыня выходила из дому?

— Да, барыня вышла из дому без четверти четыре и с полчаса уже как вернулась.

— Это правда? Ты даёшь честное слово?

— Да, сударь.

— Я обеспечу тебя, как обещал; но если ты проронишь хоть один звук, то помни моё предостережение, ты все потеряешь!

Жюль вернулся к жене.

— Клеманс, — сказал он ей, — мне надо привести в порядок домашние счета, прости, что надоедаю тебе, но скажи, ведь я передал тебе с начала года сорок тысяч франков, не так ли?

— Нет, больше, — ответила она. — Сорок семь.

— Ты все их истратила?

— Ну, конечно, — ответила она. — Прежде всего я оплатила несколько прошлогодних счётов...

«Я так ничего не узнаю, — подумал Жюль, — не с того конца начал».

В эту минуту вошёл лакей Жюля и подал ему письмо, которое тот равнодушно распечатал, но, бросив взгляд на подпись, стал с жадностью читать:

«Милостивый государь !

В интересах Вашего и нашего спокойствия я решила обратиться к Вам, хотя и не имею удовольствия быть с Вами знакомой; но моё положение, возраст и страх перед непоправимым несчастьем заставляют меня просить Вас отнестись снисходительно к нашему удручённому горем семейству. Г-н Огюст дё Моленкур вот уже несколько дней проявляет признаки умственного расстройства, и мы боимся, как бы он не нарушил Вашего счастья из-за своих химерических идей, которыми он делился с командором де Памье и со мною при первом приступе лихорадки. Вот почему мы считаем нужным предупредить Вас о его болезни, без сомнения, ещё излечимой. Она имеет столь серьёзное и важное значение для всей нашей семьи и для будущности моего внука, что я рассчитываю на Вашу полную скромность. Если бы г-н командор или я могли увидеться с Вами, милостивый государь, нам не пришлось бы обращаться к Вам с письмом; но я не сомневаюсь, что Вы не откажете матери в просьбе и сожжёте это письмо. Примите уверения в полнейшем уважении.

Баронесса де Моленкур, урождённая де Риэ ».

— Какая пытка! — воскликнул Жюль.

— Что с тобой? — спросила жена, не в силах скрыть своё беспокойство.

— Я дошёл до того, что начинаю думать — не ты ли послала мне это письмо, с целью рассеять мои подозрения, — сказал он, бросая ей письмо. — Так суди же сама о моих муках!

— Несчастный барон! — сказала г-жа Демаре, роняя бумагу. — Мне жаль его, хотя он и причиняет мне столько зла.

— Ты знаешь, он говорил со мной.

— А, так ты пошёл к нему, несмотря на данное мне слово! — сказала она, холодея от ужаса.

— Клеманс, наша любовь на краю гибели, и мы стоим вне обычных законов жизни, забудем же все мелкие счёты среди этих страшных бедствий. Послушай, скажи мне, зачем ты выходила сегодня днём? Женщины считают себя вправе иной раз обманывать нас, мужчин, по пустякам. Ведь им нравится порой приготовить для нас какой-нибудь сюрприз! А может быть, просто ты обмолвилась — сказала «нет» вместо «да».

Он вышел в гардеробную и вернулся со шляпой в руках.

— Ну, смотри! Я не собираюсь подвизаться в роли Бартоло, но шляпа тебя выдала. Ведь это следы дождевых капель! Значит, ты куда-то ездила в фиакре, и дождь забрызгал тебе шляпу, когда ты нанимала экипаж или когда входила в дом, где ты была сегодня, или когда выходила оттуда. Но ведь жена может выйти из дому и без дурного намерения, даже пообещав мужу никуда не выходить. Мало ли может быть причин, чтобы поступить так! У вас, женщин, могут быть причуды, к го осудит вас за них? Вы бываете непоследовательны в своих поступках. Ты, возможно, забыла что-нибудь сделать, оказать кому-либо услугу, нанести визит, совершить доброе дело. Ничто не должно помешать жене правдиво рассказать мужу, что она делала. Разве краснеют, открывая душу другу? Так вот, моя дорогая Клеманс, с тобой говорит не ревнивый муж, а любовник, друг, брат. — В страстном порыве он бросился к её ногам. — Не оправдывайся, нет, а успокой мои страшные муки. Я знаю, ты выходила из дому. Так что же ты делала? Где была?

— Да, я выходила, Жюль, — ответила она взволнованным голосом, хотя лицо её оставалось спокойным. — Но не расспрашивай меня ни о чем. Жди и верь мне, иначе тебя замучают угрызения совести Жюль, дорогой мой Жюль, доверие — это добродетель любви. Признаюсь тебе, в эту минуту я слишком потрясена, чтобы тебе отвечать, но я не притворщица, и я тебя люблю, ты это знаешь.

— Ну, что же! Вопреки всему, что может пошатнуть веру мужчины в женщину, возбудить его ревность — ибо я, значит, не первый в твоём сердце, не единое с тобой существо, — я все же хочу верить тебе, верить твоему голосу, Клеманс, твоим глазам! Но если ты лжёшь, ты заслуживаешь...

— О, тысячи смертей! — досказала она.

— Я ничего не скрываю от тебя, а ты, ты...

— Замолчи, — прервала она его, — наше счастье зависит от нашего с тобой молчания.

— Ах, я все должен знать! — воскликнул он в неистовом порыве бешенства.

В эту минуту из передней до них долетел визгливый, пронзительный голос какой-то женщины.

— И войду, меня не удержите! — кричала она. — Да, войду, мне надо её видеть, и я её увижу.

Жюль и Клеманс бросились в гостиную, и тотчас кто-то с такой силой рванул двери, что они широко распахнулись. В комнату стремительно ворвалась молодая женщина, и два лакея, тщетно пытавшихся загородить ей дорогу, стали объяснять Жюлю:

— Сударь, невозможно было удержать эту женщину. Мы уже говорили ей, что барыни дома нет. Она же отвечает, что и без нас знает, сама, мол, видела — барыня выходила и вернулась. Грозилась, что не уйдёт никуда, будет стоять под дверью до тех пор, пока не

поговорит с барыней.

— Ступайте, — сказал г-н Демаре слугам. — Что вам угодно, мадемуазель? — прибавил он, оборачиваясь к незнакомке.

Мадемуазель принадлежала к тому типу женщин, который встречается только в Париже. Она — порождение Парижа, как грязь, как мостовые Парижа, как вода Сены, что пропускается через парижские огромные фильтры, тщательно процеживается раз десять, прежде чем попадет наконец в граненые графины, где она искрится, ясная и чистая, очищенная от мути. И в самом деле, такая женщина — это поистине оригинальное существо. Двадцать раз запечатленная живописцами, рисовальщиками, карикатуристами, она ускользает от всякого анализа, ибо она неуловима во всех своих проявлениях, как сама природа, как фантастический Париж. И правда, она связана с пороком только одним радиусом и удалена от него в тысяче других точек социальной сферы. Притом она позволяет догадываться только об одной черте своего характера, той, из-за которой ее осуждают; ее прекрасные качества скрыты, она щеголяет своим наивным бесстыдством. Односторонне изображенная в драмах и книгах, где она окружена поэтическим ореолом, она верна себе только на чердаке, ибо в других условиях ее всегда либо превозносят, либо поносят. В богатстве она развращается, а в бедности она остается никем не понятой. Иначе и быть не может! В ней слишком много пороков и слишком много достоинств; она равно способна и наложить на себя руки, проявляя величие своей души, и предаться позорному веселью; она слишком хороша и слишком омерзительна, она превосходно олицетворяет собой Париж; из таких, как она, вербуются беззубые привратницы, прачки, метельщицы, нищенки, частенько — наглые графини, восхитительные актрисы, знаменитые певицы; ее можно узнать и в двух некоронованных королевах, некогда подаренных монархии. Кто уловит истинный лик подобного Протея? Она — само воплощение женщины, она и ниже и выше женщины. В этом сложном образе живописцу нравов удастся схватить только несколько черточек, целое — бесконечно. Да, это была парижская гризетка, но гризетка во всем своем великолепии; гризетка, имеющая возможность ездить на извозчике, счастливая, молодая, хорошенькая, свежая, но все же гризетка — и гризетка с коготками, вооруженная ножницами; смелая, как испанка; сварливая, как ханжа-англичанка, отстаивающая свои супружеские права; кокетливая, как великосветская дама, лишь более прямодушная и готовая на все; своего рода «львица», только из маленькой квартирki, вместе с которой она получила все, о чем прежде так долго мечтала, — красные миткалевые занавески, мебель, крытую трипом, чайный столик, фарфоровый сервиз, украшенный цветными рисунками, диванчик, плюшевый ковер, алебастровые часы, подсвечники под стеклянным колпаком, желтую спальню, пуховую перину — словом, все утехи гризеток; экономку, тоже бывшую гризетку, но гризетку с усами и в наколке; возможность поездок в театр, засахаренные каштаны, и притом вволю, шелковые платья и дешевенькие шляпки — словом, все те наслаждения, о каких грезят модистки, сидя за своим прилавком, — разве что только не было экипажа, который, впрочем, появляется в воображении модисток лишь далекой мечтой, как маршальский жезл в сновидениях солдата. Да, наша гризетка была наделена всеми этими благами за истинную привязанность — или же несмотря на истинную привязанность, что тоже нередко бывает, когда получают все это как вознаграждение за бездумно выполняемую своеобразную повинность, за часок в день, проводимый в лапах старика. У молодой женщины, представшей перед г-ном и г-жой Демаре, были на ногах настолько открытые туфли, что на фоне ковра они лишь едва окаймляли ее белые чулки узенькими черными полосками. Эта обувь, своеобразие которой так хорошо подмечено парижской карикатурой, составляет неотъемлемое украшение парижской гризетки; а то старание, с каким она подчеркивает покром платья все свои формы, еще больше выдает ее опытному глазу наблюдателя. Итак, незнакомка была, по образному выражению французских солдат, засупонена в рюмочку, затянута в зеленое платье с косынкой, вполне позволяющей догадываться о красоте ее груди, тем более что кашемировая шаль совсем соскользнула у нее с плеч и упала бы на пол, если бы ее концы гризетка не зажала в кулаках. У незнакомки было тонкое лицо, розовые щеки,

белая кожа, серые глаза с искорками, очень выпуклый лоб, тщательно причесанные волосы, спускающиеся из-под шляпы на шею крутыми завитками.

— Меня зовут Идой, сударь. И вот, если я имею честь говорить с госпожой Демаре, то я все выложу, что накопело у меня на сердце супротив неё. Очень это дурно, когда сама ухитрилась обзавестись собственной обстановкой, вот как у вас здесь, а пытается отбить у бедной девушки — это у меня, сударь! — мужчину, который связан со мной нравственными узами и обещал искупить свой грех — заключить со мной брак в *муципалитете*. Что, ей мало, сударь, красивых молодчиков? Пусть тешится с ними и оставит в покое пожилого человека, в котором все моё счастье. Чего там, нет у меня шикарных хоромов, зато есть у меня любовь. Плевать мне на красавчиков с тугим кошельком, я живу сердцем, и...

Госпожа Демаре повернулась к мужу.

— Вы позволите мне, сударь, не слушать дальше, — сказала она и пошла к себе в спальню.

— Если эта дама с вами живёт, так я, видно, влопалась; ну и пусть! — продолжала Ида. — Зачем она повадилась каждый день бегать к господину Феррагусу!

— Вы ошибаетесь, мадемуазель, моя жена не способна...

— Ага, стало быть, вы *ейный* муж! — протянула слегка удивлённая гризетка. — Ну, тем хуже, сударь! Право, куда это годится, чтобы женщина имела счастье состоять в законном браке и путалась бы с таким, как Анри.

— Да кто этот Анри? — спросил г-н Жюль, схватив Иду за руку и увлекая её в другую комнату, чтобы жена его больше ничего не слыхала.

— Как кто? Господин Феррагус...

— Но он же умер, — возразил Жюль.

— Вот бредни! Да я вчера вечером была с ним у Франкони, и домой он меня проводил честь честью. Ну, да ваша супруга сама может вам кое-что о нем порассказать. Что, разве не бегала она к нему сегодня в три часа дня? Меня-то не проведёшь; я поджидала её на улице, потому что милый такой человек, господин Жюстен, — может, знаете, старичок с брелоками и в корсете, — сказал, что моя соперница госпожа Демаре. Имя привычное, его часто выбирают себе наши женщины. Ах, извините, ведь это и ваше имя! Но будь госпожа Демаре сама придворная герцогиня, Анри так богат, что и тогда мог бы удовлетворить все её прихоти. Моё дело — отстоять своё добро, и я права, потому что я-то люблю Анри! Это моё первое сердешное увлечение, тут дело идёт о моей любви и о моей будущности. Меня не запугаете; я честная девушка и никогда не лгала, ничьего добра не крада. Будь моя соперница сама императрица, я пошла бы прямо к ней, посмей она посягнуть на моего будущего мужа; да будь она трижды императрица, я, поверьте, не задумываясь могла бы убить её, потому что все красивые женщины равны...

— Замолчите, довольно, — сказал Жюль. — Где вы живёте?

— Улица Кордри-дю-Тампль, дом номер четырнадцать, сударь. Ида Грюже, корсетница, всегда к вашим услугам, ведь мы немало корсетов делаем и для мужчин.

— А где живёт этот, как его вы зовёте, Феррагус?

— Не *этот Феррагус*, а *господин Феррагус*, — сказала она, поджимая губы, — это вам, сударь, не первый встречный. Пожалуй, он почище вас ещё будет. И что вам спрашивать у меня адрес, когда его знает ваша жена? Он не велел никому его давать. Да что я, обязана вам отвечать?.. Я, слава Богу, не на исповеди и не в полиции и могу не давать никому отчёта.

— А если я вам дам двадцать, тридцать, сорок тысяч франков, вы скажете мне, где живёт господин Феррагус?

— Нет, на это я — молчок: на-ка, выкуси, дружок! — сказала она, подкрепляя свой удивительный отказ красноречивым народным жестом. — Никаких денег не хватит, чтобы заставить меня это сказать. Имею честь кланяться. Где здесь выход-то?

Ошеломлённый Жюль дал Иде уйти, не подумав её задержать. Ему казалось, что мир вокруг рушится и небесный свод разбивается вдребезги над его головой.

— Кушать подано, сударь, — доложил камердинер. Камердинер и лакей с четверть часа поджидали господ в столовой.

— Барыня не будет обедать, — сообщила горничная.

— Что случилось, Жозефина? — спросил камердинер.

— Не знаю, — ответила она. — Барыня плачет и собирается лечь в постель. У барина, видно, была подружка на стороне, и это совсем некстати открылось, слышали? Не поручусь, переживёт ли это барыня. Все мужчины такие негодники! Устраивают сцены безо всякой осторожности.

— Ничего подобного, — тихонько возразил лакей, — наоборот, это все барыня... ну, да вы понимаете. Когда же это у барина было время развлекаться в городе? Вот уже пять лет, как он ни разу нигде и не ночевал, кроме как в спальне барыни, работает у себя в кабинете с десяти часов и выходит оттуда только к полудню, к самому завтраку. Что и говорить, жизнь его нам известна, правильная жизнь, а вот барыня, так она чуть не каждый день как три часа, так уж неизвестно куда исчезает.

— Ну и барин тоже, — сказала горничная, защищая хозяйку.

— Да ведь барин-то на биржу ездит... — возразил камердинер и немного погодя заметил: — Однако я уже три раза докладывал ему, что обед подан. Ну, словно истукану говоришь.

Вошёл Жюль.

— Где барыня? — спросил он.

— Барыня в постель ложатся, у них мигрень, — многозначительно сообщила горничная.

Тогда Жюль с величайшим хладнокровием сказал слугам:

— Можете убирать со стола, я посижу с барыней.

Он вошёл в спальню жены. Клеманс плакала, но старалась заглушить рыдания платком.

— Почему вы плачете? — спросил её Жюль. — Вы можете не бояться ни неистовых выходок, ни упрёков с моей стороны. Зачем стал бы я вам мстить? Если вы не были верны моей любви, значит, вы были её недостойны...

— Я недостойна?! — сквозь рыдания проговорила она таким голосом, который тронул бы любого мужчину, только не Жюля.

— Я не убью вас, для этого, видно, надо любить больше, чем я люблю, — продолжал он, — ну, а у меня не хватит духу, скорее я убью самого себя, дам вам наслаждаться вашим... счастьем с тем, кто...

Он не мог договорить.

— Убить себя! — закричала Клеманс, бросаясь к его ногам и обнимая их.

Он хотел высвободиться из её объятий и отойти от неё, но она так крепко за него уцепилась, что он проволоком её по полу до самой кровати.

— Оставьте меня, — сказал он.

— Нет, нет, Жюль! — кричала она. — Если ты больше меня не любишь, я умру. Ты хочешь все знать?

— Да!

Он схватил её, неистово сжал, затем присел на край постели и поставил перед собой жену, сдавив её коленями, словно тисками; он устремил холодный взгляд на это прекрасное лицо, залитое слезами и пылавшее огнём, и сказал:

— Говорите же! Клеманс снова зарыдала.

— Нет, это тайна, от которой зависит жизнь и смерть. Раскрыть её тебе... Нет, не могу. Жюль, пощади!

— Ты все обманываешь меня...

— Ах, ты не говоришь мне больше *вы* ! — воскликнула она. — Да, Жюль, ты можешь думать, что я тебя обманываю, но скоро, скоро ты все узнаешь.

— Но кто он тебе, этот Феррагус, этот каторжник, у которого ты бываешь, этот человек, разбогатевший на преступлениях? Если ты не принадлежишь ему, если он не твой...

— Ах, Жюль!

— Так, значит, это он — твой неведомый благодетель? Это он — человек, которому, как говорили, мы обязаны своим состоянием?

— Кто говорил?

— Тот, кого я убил на дуэли.

— О Господи, уже одна смерть!

— Пускай он не твой покровитель и не задаривает тебя золотом, пускай, наоборот, ты ему помогаешь, — так что же, он брат тебе, что ли?

— Ну, а если это так? — спросила она. Господин Демаре скрестил руки.

— Почему же ты скрыла все от меня? — продолжал он. — Ты, стало быть, обманывала меня вместе с матерью? Да кто же ходит к брату чуть ли не каждый день?

Жена его упала без чувств к его ногам.

«Умерла, — подумал он. — А что, если я не прав?»

Он бросился к звонку, позвал Жозефину и уложил Клеманс на постель.

— Я умру, я не вынесу этого, — сказала г-жа Демаре, придя в себя.

— Жозефина, — крикнул г-н Демаре, — пойдите за господином Деппеном. Затем зайдите к моему брату и передадите ему, что я прошу его прийти как можно скорее.

— Зачем зовёте вы брата? — спросила Клеманс. Но Жюль уже вышел из комнаты.

Впервые за пять лет г-жа Демаре лежала в постели одна, без мужа, впервые вынуждена была допустить врача в свою спальню, в своё святилище. Это были тяжкие для неё огорчения. Деппен нашёл состояние г-жи Демаре очень опасным; никогда ещё душевные потрясения не оказывали столь странного действия. Врач не хотел ничего предсказать и, обещав высказать своё мнение на другой день, ограничился несколькими предписаниями, которые остались невыполненными, ибо сердечные заботы оттеснили заботы о здоровье. Уже светало, а Клеманс все не могла заснуть. Она прислушивалась к глухому шёпоту братьев, разговаривавших между собой несколько часов подряд, но толстые стены не позволяли ей уловить ни единого слова, по которому она могла бы догадаться о содержании этой беседы. Вскоре брат Жюля, нотариус Демаре, ушёл Тишина ночи и необычайное обострение слуха, вызванное нервным возбуждением, помогли Клеманс услышать скрип пера и шорохи, невольно производимые пишущим человеком. Кто привык бодрствовать по ночам и кому приходилось наблюдать различные акустические явления среди глубокой тишины, тот знает, что зачастую нетрудно заметить внезапный, даже лёгкий, шорох там, где обычно однообразный и непрерывный шум не доходит до слуха. В четыре часа утра шум прекратился. Взволнованная и дрожащая встала с постели Клеманс. Босиком, без пеньюара, не заботясь о том, что была в испарине, не думая о своём болезненном состоянии, бедная женщина открыла дверь в кабинет — и так удачно, что дверь даже не скрипнула. Она увидела мужа, заснувшего в кресле с пером в руке. Свечи догорели до самых розе гок. Она тихонько подошла к столу и прочла на запечатанном уже конверте. «Моё завещание».

Она преклонила перед мужем колени, как перед гробницей, и поцеловала его руку; отчего он сразу проснулся.

— Жюль, друг мой, преступникам, приговорённым к смертной казни, и то дают несколько дней отсрочки, — сказала она, поднимая на него глаза, которым лихорадочное состояние и любовь придали необычный блеск. — Твоя жена, ни в чем не повинная, просит у тебя всего два дня сроку. Дай лишь два дня в моё распоряжение и... жди! Тогда я умру счастливой, ты хоть пожалеешь обо мне.

— Клеманс, я согласен.

И когда она в трогательном сердечном порыве стала целовать ему руки, Жюль, покорённый этим излиянием невинной души, привлек жену к себе и поцеловал в лоб, сгорая от стыда, что все ещё находится под властью её благородной красоты.

На другой день, отдохнув несколько часов у себя в кабинете, Жюль вошёл в спальню к жене, невольно подчиняясь привычке не выходить из дому, не повидавшись с ней. Клеманс спала. Луч света, пробиваясь сверху сквозь щели ставней, падал на лицо измученной

женщины. Печать страданий уже легла на её лоб, губы утратили свою свежесть. Взгляд любящего человека не мог ошибиться при виде землистых пятен на её лице и болезненной бледности вместо ровного румянца и матовой белизны — того чистого фона, на котором так непосредственно отражались все чувства этой прекрасной души.

«Она страдает, — подумал Жюль. — Бедная Клеманс, да помилует нас Бог!»

Он осторожно поцеловал её в лоб. Она проснулась, увидела мужа и поняла все; но, не в силах говорить, она только взяла его за руку, и глаза её наполнились слезами.

— Я не виновата ни в чем, — сказала она, пробуждаясь от сна.

— Ты никуда не выйдешь из дому? — спросил её Жюль.

— Нет, я слишком слаба, чтобы встать с постели.

— Если передумаешь, подожди меня, — попросил Жюль. И он направился к выходу.

— Фукеро, внимательно следите за парадным подъездом, мне надо знать, кто войдёт в дом и кто из него выйдет.

Затем г-н Жюль нанял фиакр и приказал ехать к особняку Мо-ленкуров; там он спросил барона.

— Барон нездоров, — сказали ему.

Жюль настойчиво требовал, чтобы его приняли; он назвал своё имя и попросил, если уж нельзя видеть барона, доложить о нем ви-даму или старой баронессе. Он ждал в гостиной; через несколько минут баронесса вышла к нему и сказала, что её внук слишком плохо себя чувствует и не может его принять.

— Я знаю о болезни вашего внука, сударыня, из письма, которое вы оказали мне честь написать, — ответил Жюль, — и прошу вас поверить...

— Из какого письма, сударь? Из моего письма к вам?! — перебила его вдова. — Но я не писала вам ничего. Что же вам написали от моего имени?

— Сударыня, — продолжал Жюль, — решив сегодня же посетить господина де Моленкура и вернуть вам лично это письмо, я позволил себе сохранить его, вопреки приказанию, которым оно заканчивается. Вот оно.

Вдова позвонила, попросила принести ей очки и, взглянув на бумагу, выразила сильнейшее удивление.

— Сударь, кто-то так превосходно подделал мой почерк, — сказала она, — что, если бы дело шло не о столь недавних событиях, я сама обманулась бы. Внук мой болен, это правда, сударь, но разум его ничуть не повреждён. Мы во власти каких-то преступных людей, и все же я не могу понять, для чего они пошли на эту наглую ложь... Вы повидаетесь с моим внуком, сударь, и убедитесь, что ум его не пострадал.

Она позвонила снова, чтобы узнать у барона, не примет ли он г-на Демаре. Лакей вернулся, приглашая его к барону. Жюль поднялся к Огюсту де Моленкуру, который сидел в кресле около камина и, не имея силы встать, лишь меланхолично кивнул головою Жюлю; видам находился тут же.

— Господин барон, — сказал Жюль, — мне надо сообщить вам кое-что сугубо личного характера, и я желал бы остаться с вами наедине.

— Сударь, — ответил Огюст, — господин командор в курсе всех дел, и вы можете безбоязненно говорить в его присутствии.

— Господин барон, — продолжал Жюль значительным тоном, — вы смутили мой покой, почти разрушили моё счастье, не имея на то никакого права. До тех пор пока не станет ясно, кто у кого может требовать удовлетворения, вы обязаны помогать мне на том опасном пути, куда вы меня сами толкнули. Так вот, я пришёл узнать у вас нынешний адрес таинственного существа, которое оказывает столь роковое влияние на нашу судьбу и словно пользуется какой-то сверхъестественной властью. Вчера, вернувшись после встречи с вами домой, я получил вот это письмо.

И Жюль протянул ему подложное письмо.

— Этот Феррагус, этот Буриньяр, или господин де Функал, — сам сатана! — воскликнул Моленкур, прочитав письмо. — В какой страшный лабиринт я попал! Куда я

иду? Я был не прав, сударь, — сказал он, взглянув на Жюля, — но смерть, бесспорно, самое великое искупление, а моя смерть уже не за горами, вы можете от меня требовать все, что пожелаете, располагайте мной.

— Сударь, вы должны знать, где живёт незнакомец. Я должен во что бы то ни стало проникнуть в эту тайну, хотя бы ценой всего моего состояния; а при столкновении со столь беспощадным, изобретательным врагом дорога каждая минута.

— Жюстен вам все расскажет, — ответил барон. При этих словах командор заёрзал на стуле. Огюст позвонил.

— Жюстена нет дома! — заявил видам со странной поспешностью.

— Ну так что же? — живо возразил Огюст. — Люди знают, где он, кто-нибудь верхом съездит за ним. Ведь он в Париже, не так ли? Его разыщут.

Командор, казалось, был сильно взволнован.

— Жюстен не придёт, мой друг, — сказал наконец старик. — Он умер. Я хотел скрыть от тебя этот несчастный случай, но...

— Умер? — воскликнул г-н де Моленкур. — Умер? Когда же? Как?

— Вчера ночью. Он отправился со старыми друзьями поужинать, наверное, напился пьян, а приятели его, пьяные, как и он сам, оставили его валяться на улице, и его переехала телега...

— Его настигла рука каторжника! Он убил его сразу, с первого удара, — сказал Огюст. — Со мной ему не так повезло, он четыре раза покушался на меня.

Жюль мрачно задумался.

— Значит, я ничего не выясню! — воскликнул после долгого молчания биржевой маклер. — Ваш слуга, быть может, наказан по заслугам. Не злоупотребил ли он вашими полномочиями, не он ли очернил госпожу Демаре в глазах какой-то Иды, возбуждив её ревность и натравив её на нас с женой?

— Ах, сударь, в своём гневе я рассказал ему все о госпоже Демаре.

— Милостивый государь! — возмущённо вскричал муж.

— О, теперь я готов ко всему, — ответил офицер, движением руки призывая его к спокойствию. — Вы не накажете меня больше, чем я уже наказан, и вы не осудите меня строже, чем осудила меня моя совесть. Сегодня я жду посещения самого знаменитого профессора, знатока ядов, чтобы узнать свой приговор. Если меня ждут слишком сильные муки, то я уже твёрдо решил — пушу себе пулю в лоб.

— Вы рассуждаете как дитя! — воскликнул командор, испуганный хладнокровием, с каким барон произнёс эти слова. — Ваша бабушка умрёт с горя.

— Итак, сударь, — сказал Жюль, — нет никакой возможности узнать, где в Париже проживает этот необычайный человек?

— Помнится, — отвечал старик, — я слышал от бедняги Жюстена, будто господин де Функал живёт не то в португальском, не то в бразильском посольстве. Господин де Функал — дворянин, связан и с той и с другой стороной. Ну, а каторжник, тот умер и похоронен. Ваш преследователь, кто бы он ни был, мне представляется столь могущественным человеком, что вам не остаётся ничего иного, как примириться с его новым обликом до поры до времени, пока вы не обретёте возможность его уличить и раздавить; но действуйте крайне осторожно, милостивый государь. Если бы господин де Моленкур слушался моих советов, ничего бы с ним не случилось.

Жюль холодно, но вежливо простился, не зная, что предпринять, как добраться до Феррагуса. Когда он вернулся домой, привратник сказал ему, что г-жа Демаре выходила из дому опустить письмо в почтовый ящик, находившийся против улицы Менар. Жюлю унижительно было видеть, с какой необычайной сметливостью взялся за дело привратник, с какой ловкостью выполнял он его поручения. Жюлю было известно, какая исключительная сноровка проявляется слугами, когда надо скомпрометировать своих хозяев, если те сами себя компрометируют; он понимал опасность подобных сообщников в любом деле, но ему было не до того, он вспомнил о личном достоинстве только тогда, когда подвергся столь

внезапному унижению. Какое торжество для раба, не могущего подняться до своего господина, — заставить господина стать на одну доску с ним! Жюль был резок, суров. Ещё одна ошибка. Но он так страдал! Жизненный путь его, до этих пор такой прямой, такой чистый, становился извилистым, приходилось теперь лгать, лукавить. Клеманс тоже лгала и лукавила. Его охватило отвращение. Весь во власти горьких дум, Жюль стоял и стоял у дверей своего особняка. То, предаваясь безнадежным мыслям, он хотел бежать, покинуть Францию, унося с собой хоть какие-то последние иллюзии любви. То, уверенный, что письмо жены было адресовано Феррагусу, он измышлял способы перехватить ответ этого таинственного существа. То он задумывался над необычайными случайностями своей жизни после женитьбы и спрашивал себя, не была ли правдой клевета, за которую он отомстил. И, снова возвращаясь к мысли об ответе Феррагуса, он рассуждал:

«Да ответит ли Феррагус? Ведь он так поразительно хитёр, так осмотрителен во всех своих действиях, ведь он видит, предчувствует, учит ывает и отгадывает все, даже наши мысли. Не прибегнет ли он к каким-нибудь таинственным путям общения, доступным его власти? Не передаст ли он письмо с каким-нибудь ловким мерзавцем, а то, быть может, ответ принесёт в футляре от ювелира какой-нибудь честный малый, сам ничего не подозревая, или вручит жене невиннейшим образом, вместе с ботинками, какая-нибудь мастерица? А что, если Феррагус и Клеманс обо всем договорились?»

Он ничему больше не верил, он сомневался во всем, теряясь среди необозримых просторов, среди безбрежного моря предположений; потом, отказавшись от тысячи противоречивых планов, он решил, что вернее всего выждать дома, притаившись, как муравьиный лев в своей песчаной норке.

— Фукеро, — сказал он привратнику, — кто бы ни пришёл ко мне, меня нет дома. Если пожелают увидеть барыню или передать ей что-нибудь, ты позвонишь два раза. Кроме того, показывай мне все письма, кому бы ни были они адресованы!

«Так я перехитрю почтённого Феррагуса, — подумал он, поднимаясь к себе в кабинет по внутренней лестнице. — Если его посланец схитрит и спросит сначала меня, чтобы проверить, одна ли дома жена, я по крайней мере не останусь в дураках!»

Он прильнул к окну своего кабинета, выходящему на улицу, и под влиянием ревности пустился на последнюю хитрость: вместо того чтобы самому поехать на биржу, послал в своей карете письмоводителя с письмом к одному знакомому маклеру, чтобы тот заменил его в этот день и заключил за него сделки по купле и продаже, согласно разъяснениям в письме. Наиболее ответственные операции он отложил до следующего дня, пренебрегая повышением и понижением ценностей и всеми европейскими долгами. Великое право любви! Любовь все подавляет, перед ней все блекнет: алтари, троны и бумаги государственного казначейства. В половине четвёртого дня, в час наивысшего разгара всех биржевых сделок — репортов, пролонгации, выплаты премий, покупки процентных бумаг и т. п. — к Жюлю в кабинет вошёл сияющий Фукеро.

— Сударь, только что приходила старуха, гладкая такая. Продувная бестия, доложу я вам. Спрашивала вас и словно бы огорчилась, что вас дома нет, а барыне велела вот это письмо передать.

С лихорадочной поспешностью Жюль распечатал письмо, но тотчас в полном изнеможении упал в кресло. Письмо представляло собой бессмысленный набор фраз, и прочесть его можно было лишь с помощью ключа. Оно было написано шифром.

— Ступай, Фукеро.

Привратник вышел.

«Проникнуть в эту тайну труднее, чем в морские глубины, недоступные лоту. Ах! он любит её! Только тот, кто любит, так предусмотрителен и изобретателен, как автор этого письма. Боже мой! Я убью Клеманс».

В эту минуту счастливая мысль так ярко осенила его мозг, что ему показалось, будто и все вокруг стало светлее. В дни его трудолюбивой нищеты, ещё до женитьбы, у Жюля был истинный, испытанный друг. Исключительная деликатность, с какой Жюль относился к

бедному и скромному другу, щадя его самолюбие; уважение, которое Жюль неизменно ему выказывал; изобретательность и ловкость, к каким Жюль благородно прибегал, чтобы принудить его делить с ним, не краснея, его достаток, — все это укрепило их дружбу. Жаке остался верным другом Демаре, несмотря на его богатство.

Жаке, человек подлинно честный, работающий, строгих правил, медленно прокладывал себе путь в том ведомстве, которому нужны самые прожжённые и в то же время самые надёжные люди. Он служил в министерстве иностранных дел, и в его ведении находились важнейшие секретные бумаги. Жаке в министерстве был как бы светлячком, в известные часы изливающим свет на тайную переписку; он расшифровывал и сортировал депеши. По своему положению поставленный выше обывателя, он занимал в министерстве иностранных дел самую крупную должность из всех доступных низшему чиновничеству; он жил в неизвестности, радуясь тому, что ограждён от всяких превратностей жизни, и с чувством удовлетворения внося свою скромную лепту на благо отчизне. Помощник мэра своего округа, он, как выражаются в газетах, пользовался заслуженным уважением. При содействии Жюля он получил возможность улучшить своё положение, заключив выгодный брак. Безвестный патриот, на деле преданно служа министерству, он довольствовался тем, что осуждал действия правительства лишь сидя у домашнего очага. Впрочем, дома Жаке был благодушным монархом, человеком скромных привычек, отдавал все деньги жене и ни в чем ей не прекословил. Наконец, чтобы завершить портрет этого философа неведомо для себя, прибавим, что он так и не догадывался, да и не мог никогда догадаться о выгодах, какие другой на его месте извлёк бы из своего положения — неизменно узнавая по утрам все государственные тайны и при этом имея близким другом биржевого маклера. Этот высокой души человек, — подобный безвестному солдату, погибшему, спасая жизнь Наполеона своим криком «кто идёт?», — жил при министерстве.

Через десять минут Жюль уже был в канцелярии архивариуса. Жаке пододвинул ему стул, снял с себя и аккуратно положил на стол зелёный шёлковый козырёк для глаз, потёр руки, взял табакерку, встал с места, хрустнул пальцами, расправил плечи и сказал:

— Каким ветром занесло тебя в наши края, почтеннейший Де-маре? Чем могу тебе служить?

— Жаке, ты мне очень нужен, ты один можешь разгадать страшную тайну, дело идёт о жизни и смерти.

— Политика тут ни при чем?

— Поверь, не к тебе обратился бы я тогда с расспросами, — сказал Жюль. — Нет, это семейное дело, и прошу тебя сохранить его в глубокой тайне.

— Клод-Жозеф Жаке нем по профессии. Неужели ты не знаешь меня? — сказал он смеясь. — Такова уж моя участь — всегда молчать.

Жюль передал ему письмо со словами:

— Прочти мне эту записку, она адресована моей жене.

— Черт побери! Черт побери! Плохо дело! — сказал Жаке, рассматривая письмо, как ростовщик, оценивающий принесённый ему заклад. — Ага! да это письмо с решёткой! Погоди!

Он вышел из кабинета и очень скоро вернулся.

— Пустяки, дружище! Это написано с помощью устарелой решётки, которой пользовался ещё португальский посол во времена господина Шуазеля, когда изгоняли иезуитов. Вот смотри.

Жаке наложил на письмо лист с прорезным рисунком, похожий на бумажные кружева, какими кондитеры украшают свои изделия, и Жюль без труда прочёл слова, оставшиеся открытыми.

«Не тревожься, дорогая Клеманс, никто не нарушит больше нашего счастья, и твой муж откажется от своих подозрений. Я не могу тебя повидать. Как бы ты ни была больна, тебе надо собрать все своё мужество и прийти. Постарайся, найди в себе силы, почерпни их в

своей любви. Из любви к тебе я претерпел жесточайшую операцию и не могу теперь встать с постели. Мне делали вчера вечером прижигания пониже затылка, на шее, от одного плеча до другого, — и прижигания длительные. Ты понимаешь меня? Но, думая о тебе, я мог вытерпеть боль. Чтобы сбить со следа Моленкура, который уже не долго будет нас преследовать, я покинул спасительную кровлю посольства и укрылся от всех розысков в надёжном убежище, на улице Анфан-Руж, в доме № 12, у старушки по имени госпожа Грюже — она мать той самой Иды, которой дорого придётся заплатить за свою дурацкую выходку. Приходи ко мне завтра в девять часов утра. Я лежу в комнате, куда можно попасть только по внутренней лестнице Спроси г-на Камюзе. До завтра. Целую тебя в лоб, моя дорогая».

Жакэ взглянул на Жюля с каким-то простодушным ужасом, в котором было искреннее сострадание, и дважды, с различными интонациями голоса, повторил своё излюбленное словечко:

— Черт побери, черт побери!

— Тебе все ясно, не правда ли? — сказал Жюль. — Так вот, слушай! В глубине моей души какой-то голос защищает жену, и звучит он убедительнее, чем все муки ревности. Я перетерплю до завтрашнего утра страшнейшую пытку; но наконец завтра, между девятью и десятью часами, я узнаю все и стану навсегда несчастным или счастливым. Не забывай обо мне, Жакэ!

— Я зайду к тебе завтра в одиннадцать часов Мы пойдём туда вместе; если хочешь, я буду ждать тебя на улице. Ты можешь подвергнуться нападению; надо, чтобы около тебя был преданный человек, который поймёт тебя с полуслова и придёт тебе на помощь. Рассчитывай на меня.

— Даже если понадобится помочь мне в убийстве?

— Черт побери, черт побери! — с живостью произнёс Жакэ, как бы повторяя одну и ту же музыкальную ноту. — У меня двое детей и жена...

Жюль пожал руку Клода Жакэ и вышел. Но он тотчас же вернулся.

— Я забыл письмо, — сказал он. — И притом это ещё не все, его надо снова запечатать.

— Черт побери, черт побери! Ты вскрыл его, не сняв с печати оттиска; но, к счастью, печать довольно удачно сломалась. Иди домой, а письмо оставь у меня, я принесу его *secundum scripturam*.

— В котором часу?

— В половине шестого...

— Если я не вернусь домой к этому времени, то просто отдай его привратнику и скажи ему, чтобы он передал его барыне.

— Так прийти мне завтра к тебе?

— Нет, не надо. Прощай.

Жюль быстро доехал до площади Ротонд-дю-Тампль, оставил там свой кабриолет и пошёл пешком на улицу Анфан-Руж, где стал осматривать дом г-жи Грюже. Там должна была разъясниться тайна, от которой зависела участь стольких людей; там находился Феррагус, а ведь к Феррагусу вели нити всей этой интриги. Не связаны ли были судьбы г-жи Демаре, её мужа и этого человека в гордиев узел драмы, уже кровавой, которая сулит неизбежное вмешательство меча, рассекающего самые крепкие узы?

Дом принадлежал к разряду так называемых каморчиц. Такое весьма знаменательное название парижане дали домам, составленным из построек, первоначально ничем не связанных между собою. Это почти всегда самостоятельные жилые помещения, но соединённые вместе по прихоти различных домовладельцев, которые их достраивали, каждое на свой лад; или же здания, которые кто-то начинал строить и бросал, затем опять кто-то строил и с грехом пополам заканчивал, — несчастные дома, выдавшие на своём веку, подобно некоторым народам, немало династий своенравных владык. Ни этажи, ни окна не создают здесь *единства линий*, если заимствовать у художников одно из наиболее образных

их выражений; там все дисгармонирует между собой, даже наружные украшения. *Каморочницы* среди парижской архитектуры — то же, что содом в закоулке какой-нибудь квартиры, настоящий хаос, где нагромождён в беспорядке самый разнообразный хлам.

— Как пройти к госпоже Грюже? — спросил Жюль у привратницы.

Привратница занимала клетушку у ворот, смахивающую на курятник, — тесную деревянную постройку на катках, напоминающую будки, какие наставила полиция на всех извозчичьих биржах.

— А? — протянула привратница, отрываясь от чулка, который вязала.

В Париже различные фигуры, придающие характерный облик отдельным частям этого чудовищного города, прекрасно гармонируют со всем ансамблем. Так, привратник, дворник, швейцар — называйте, как хотите, этот существенный мускул парижского чудовища! — всегда находится в полном соответствии со своим кварталом и часто может служить его олицетворением.

Расшитый галунами праздный привратник Сен-Жерменского предместья играет на бирже; на Шоссе д'Антен привратник живёт в достатке, в квартале Биржи почитывает газету, а в Монмартрском предместье представляет собой значительное лицо. Привратница в квартале проституции — бывшая проститутка; в Марэ — угрюмая, несговорчивая особа строгих нравов.

Увидев г-на Жюля, привратница взяла нож и принялась ворошить потухающие угли в жаровне, затем переспросила:

— Стало быть, вы спрашиваете госпожу Грюже?

— Да, — ответил Жюль Демаре, начиная раздражаться.

— Золотошвейку? — Да.

— Так вот, сударь, — сказала она, выйдя из своей клетушки и ведя г-на Жюля за руку через длинный и сводчатый, как погреб, коридор. — Подымитесь по второй лестнице, что в глубине двора. Видите окна — с цветущими *клевками*? Там и живёт госпожа Грюже.

— Благодарю вас, сударыня. Вы полагаете, она одна?

— А то как же иначе? Она ведь вдова.

Жюль быстро взбежал по тёмной лестнице, ступеньки которой были покрыты комьями затверделой грязи, нанесённой сюда многочисленными ногами. На третьем этаже он увидел три двери, но не обнаружил никаких клевок. К счастью, на одной из дверей, самой засаленной и самой грязной, он разобрал написанные мелом слова: «Ида придёт сегодня вечером в девять часов».

«Здесь!» — решил Жюль.

Дёрнув за старый почерневший шнур звонка с ручкой в виде козьей ножки, он услышал глухой, надтреснутый звон колокольчика и хриплое тявканье собачонки. По тому, как зазвенел в квартире колокольчик, он догадался, что комнаты загромождены вещами, заглушающими все отзвуки, — характерная черта квартир, занимаемых мастерами и бедняками, которым не хватает ни места, ни воздуха. Машинально Жюль продолжал искать *клевок* и наконец заметил их на наружном выступе окна между двумя зловонными желобами. Тут росли цветы, тут был разбит сад длиною в два фута, шириною в шесть дюймов, тут произрастали колосья пшеницы; то был краткий итог жизни на земле, но также итог всех её бед. Луч света, словно из милости заглянувший сюда, делал ещё заметнее, рядом с этими чахлыми цветами и превосходными стеблями пшеницы, пыль, сальные пятна и неопределённую, свойственную парижским лачугам окраску, бесконечную грязь, покрывавшую старые и отсыревшие стены, гнилые перила лестницы, разошедшиеся оконные рамы, двери, некогда выкрашенные в красный цвет. Вскоре старушечий кашель и тяжёлые шаги женщины, с трудом таскавшей ноги в войлочных туфлях, возвестили о появлении матери Иды Грюже. Старуха открыла дверь, вышла на площадку, подняла голову и сказала:

— А, господин Бокийон! Нет, обозналась. Ну, до чего вы похожи на господина Бокийона! Вы, видно, брат его? Чем могу вам служить? Входите же, сударь!

Жюль прошёл за старухой в первую комнату, где в беспорядке представились его

взорам клетки для птиц, кухонная утварь, печи, мебель, глиняные блюда для собак и кошек, наполненные водой или каким-то месивом, деревянные стенные часы, одеяла, гравюры Эйсена, старое, сваленное в кучу железо, нагромождение всякой всячины, представлявшей поистине диковинную картину, настоящий парижский *содом*, в котором можно было обнаружить несколько случайных номеров «Конститусьонеля».

Жюль, весь поглощённый мыслью, как осторожнее приступить к делу, пропустил мимо ушей приглашение вдовы Грюже:

— Пройдите же сюда, сударь, погрейтесь.

Боясь быть услышанным Феррагусом, Жюль раздумывал, не лучше ли здесь же, сразу предложить старухе сделку, ради которой он сюда явился. Кудахтанье курицы, вылезшей из чулана, вывело его из задумчивости. Жюль решил действовать. Он прошёл за матерью Иды в комнату, где горел огонь, куда за ними поплелась, в качестве немого свидетеля этой сцены без слов, маленькая, страдающая одышкой моська; она забралась на старую табуретку. Предложив гостю погреться, г-жа Грюже обнаружила все своё полунищенское тщеславие. Её суповой горшок совершенно скрывал под собою две сиротливые головешки. Шумовка валялась на полу, ручкой в золе. Камин, который украшало восковое изображение Христа под стеклянным кубическим колпаком, оклеенным по рёбрам полосками голубоватой бумаги, был завален шерстью, катушками, принадлежностями позументного ремесла. Жюль оглядел всю обстановку квартиры с крайним любопытством и не мог скрыть своего удовлетворения.

— Ну, скажите, сударь, вы, верно, пришли столкнуться насчёт моей *небели*? — спросила вдова, усаживаясь в жёлтое камышовое кресло, бывшее, по всей вероятности, её постоянной резиденцией.

Там, в щели между сиденьем и спинкой, нашли себе пристанище носовой платок, табакерка, вязанье, наполовину очищенные овощи, очки, календарь, начатые ливрейные галуны, засаленная колода карт, два тома каких-то романов. Это кресло, в котором старуха плыла вниз по *течению жизни*, походило на тот мешок-энциклопедию, который берут с собой в дорогу женщины, уместив туда все своё хозяйство в миниатюре, начиная с портрета мужа и кончая мелиссовой водой на случай обморока, и английским пластырем на случай порезов, и конфетками для детей.

Жюль все приметил. Он внимательно рассмотрел пожелтевшее лицо г-жи Грюже, её серые глаза без ресниц и бровей, беззубый рот, забитые копотью морщины, порыжелый тюлевый чепец, с ещё более порыжелым рюшем, дырявую ситцевую юбку, стоптанные туфли, прогоревшую грелку, стол, заваленный тарелками, шёлковыми лоскутками, раскroенными ситцевыми и шерстяными платьями, среди которых возвышалась бутылка вина. И он решил про себя: «Эта женщина предаётся какой-то страсти, привержена какому-то тайному пороку, она у меня в руках!»

— Сударыня, — громко произнёс он, многозначительно мигнув ей, — я пришёл заказать вам галуны... — И прибавил шёпотом — Я знаю, что у вас нашёл приют незнакомец, называющий себя Камюзе.

Старуха кинула на него быстрый взгляд, не выказав ни малейшего удивления.

— Скажите, — продолжал Жюль, — может ли он нас слышать? Подумайте о том, что дело идёт о вашем благосостоянии.

— Сударь, — ответила она, — не бойтесь ничего, здесь никого нет. Если и был бы кто наверху, так все равно вас не услышал бы.

«А старуха с хитрецей, себе на уме! — подумал Жюль. — С ней можно столкнуться».

— Не трудитесь меня обманывать, сударыня, — отвечал он ей. — И прежде всего запомните, что я не желаю зла ни вам, ни вашему больному жильцу, страдающему от прижиганий, ни вашей дочери Иде, корсетнице, подруге Феррагуса. Вы видите, я в курсе всех ваших дел. Успокойтесь, в полиции я не работаю и не потребую от вас ничего, что было бы противно вашей совести. Завтра между девятью и десятью часами утра сюда придёт молодая дама, чтобы поговорить с другом вашей дочери. Мне надо все видеть, все слышать,

но так, чтобы меня не видели и не слышали. Предоставьте мне эту возможность, а я отблагодарю вас за услугу двумя тысячами франков единовременно и пожизненной пенсией в шестьсот франков. Сегодня вечером мой нотариус в вашем присутствии составит соответствующий акт; я передам ему для вас деньги, а завтра, после того разговора, при котором я желаю присутствовать, он вручит их вам, если я увижу, что вы добросовестно выполнили свои обязательства.

— Но вдруг это повредит моей дочке, дорогой барин? — сказала она, бросая на него недоверчивый, кошачий взгляд.

— Нисколько, сударыня К тому же ваша дочь как будто и не очень заботится о вас. Ведь её любит такой богатый, такой могущественный человек, как Феррагус, она, мне кажется, могла бы устроить получше вашу жизнь.

— Ах, дорогой барин, хоть бы раз дала мне какой-нибудь завалящий билетик в театр Амбигю или в Гетэ, куда сама ходит, когда только ей вздумается. Нехорошо это, право, нехорошо. Ради дочери я продала все своё серебро, так что теперь ем — это в мои-то годы! — на немецком металле, и все для того, чтобы уплатить за её учение и дать ей в руки такое ремесло, что захоти она только, и она станет загребать золотые горы. Вот по этой части она вся в меня, уж такая искусница, просто волшебница, по совести вам говорю. Ну, хоть бы отдавала мне старые шёлковые платья, ведь знает, что привыкла я ходить в шелках. Но куда там, сударь! Повадилась обедать в «Голубом циферблате», где платят пятьдесят франков с персоны, разъезжает в каретах, как принцесса! На мать ей теперь просто наплевать, ни во что меня не ставит. Господи Боже! Что за непутёвое поколение мы вырастили, нечем и похвалиться. А была я, сударь, прекрасной матерью, редкой матерью, я прикрывала все её грешки, всегда держала её около своей юбки, последний кусок хлеба у себя урывала, чем только я её не ублажала. И что же! придёт, приласкается, скажет: «Здравствуйте, матушка». Вот и готово, вот и выполнены все ихние обязанности к родительнице. Живи как можешь! Ну, будут когда-нибудь и у неё дети, сама поймёт, что это за дрянной товар, — а все равно ведь любишь их!

— Неужели она ничего для вас не делает?

— Ах, сударь, не то чтобы ничего, — я этого не скажу, но, право, немного. Она платит за квартиру, за дрова и даёт мне тридцать шесть франков в месяц... Но куда это годится, сударь, — в мои-то лета, в пятьдесят два года, когда глаза уже слезятся по вечерам, все ещё работать? Да и пошто она меня знать не желает? Гнушается она мною, что ли? Пусть уж так прямо и говорит. Ей-ей, из-за этих собачьих отродий хоть в гроб ложись, только выскочат за двери, глядь, уже и забыли вас.

Она вытащила носовой платок, обронив при этом из кармана на пол лотерейный билет, который быстро подхватила.

— А! Никак моя налоговая квитанция, — сказала она.

Жюль сразу догадался о причине мудрой дочерней скарденности, на которую жаловалась мать, и не сомневался уже, что вдова Грюже пойдёт на сделку с ним.

— Ну, сударыня, — сказал он, — согласитесь в таком случае на моё предложение.

— Значит, говорите вы, две тысячи франков наличными и шестьсот франков ренты?

— Сударыня, я передумал, я дам вам только триста франков ренты. Такая сделка больше согласуется с моими интересами. Зато вы получите от меня пять тысяч наличными. Может быть, так удобнее и для вас?

— Ещё бы, сударь!

— Вы будете лучше обеспечены и станете ездить в Амбигю-Комик и к Франкони, куда пожелаете, и притом в карете.

— Ах! не люблю Франкони, по причине того, что там нечего послушать. Ну, сударь, соглашаюсь я только потому, что так оно выгоднее моей доченьке. Вот и перестану сидеть у неё на шее. Бедная детка, могу ли я сердиться на неё, если ей хочется поразвлечься! Сударь, ну как не повеселиться молодёжи? Так, стало быть, коли вы ручаетесь, что я никому вреда не принесу...

— Никому, — подтвердил Жюль. — Но как же вы возьмётесь за дело?

— Да что тут, сударь. Дам я сегодня вечером господину Ферра-гусу испить настоечки из маковых головок, и он, сердечный, крепко уснёт! А ему это только на пользу, ведь как он мучается, прямо жалость берет. Вот тоже, скажите на милость, выдумает же здоровый человек жечь себе спину, чтобы только избавиться от тика, мучающего его не чаще чем раз в два года. Ну вот, скажу я вам опять о нашем деле, есть у меня ключ от соседской квартиры, что вверху надо мной, а там есть общая стена с той комнатой, где лежит господин Феррагус. Соседка уехала в деревню на десять дней. Так можно проделать ночью дыру в стене, что промежду комнат, и вы тогда вдоволь и наглядитесь на них и наслушаетесь. Есть у меня приятель слесарь, обходительный такой человек, а рассказывает, точно ангел. Он-то для меня сделает все шито-крыто.

— Вот вам для него сто франков, будьте сегодня вечером у господина Демаре-нотариуса по этому адресу. В девять часов вечера акт будет готов, но... ни гу-гу...

— Ладно, сударь, так и будет, ни ку-ку! До свиданья! Жюль вернулся домой почти успокоенный уверенностью в том, что завтра все выяснится. Вернувшись, он нашёл у привратника письмо, опять безупречно запечатанное.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он жену, хотя их и разделяла некоторая отчуждённость.

Так трудно расставаться с привычками сердца!

— Неплохо, Жюль, — ответила она кокетливым тоном, — не хочешь ли пообедать здесь, подле меня?

— Хорошо, — ответил он и тут же отдал ей письмо. — Вот возьми, это Фукеро передал для тебя.

Клеманс, прежде совершенно бледная, вся покраснела при виде письма, чем причинила Жюлю сильнейшую боль.

— Что это, от радости? — спросил он со смехом. — Долгожданные вести?

— Ах! тут много всего! — ответила она, разглядывая печать.

— Я пойду к себе, сударыня.

Он прошёл в кабинет, где написал брату о своём намерении обеспечить пожизненной рентой г-жу Грюже. Когда он вернулся, то на маленьком столике около кровати Клеманс был уже приготовлен для него обед, и Жозефина ожидала тут же, чтобы ему прислуживать.

— Если бы я была на ногах, с какой радостью я прислуживала бы тебе сама, — сказала г-жа Демаре, когда Жозефина оставила их одних. — Ах, даже на коленях! — продолжала она, глядя своими бледными руками волосы Жюля. — Благородная душа, ты был сейчас, дорогой мой, очень добр. Ты облегчил мои страдания своим доверием больше, чем все доктора мира сделали бы своими предписаниями. Твоя женская деликатность — ведь ты умеешь любить, как женщина! — пролила в моё сердце такой бальзам, что почти исцелила меня. Это передышка, Жюль, наклонись ко мне, я хочу поцеловать тебя в голову.

Жюль не в силах был отказать себе в удовольствии поцеловать Клеманс. Но он сделал это не без угрызений совести, он чувствовал себя ничтожным перед этой женщиной, в невинность которой ему хотелось верить, несмотря ни на что! Она испытывала какую-то грустную радость. Чистая надежда светилась на её лице сквозь печаль. Оба они, по-видимому, одинаково страдали оттого, что вынуждены были обманывать друг друга; ещё одно ласковое слово, и, обессилев от страданий, они признались бы друг другу во всем.

— До завтра, до вечера, Клеманс.

— Нет, сударь, до полудня, вы узнаете тогда все, и вы преклоните колена перед вашей женой Ах, нет, тебе не придётся унижаться, нет, я все простила тебе; нет, ты ни в чем не повинен. Послушай, вчера ты жестоко со мной поступил; но, быть может, моя жизнь не была бы такой полной без этой скорби.

— Ты околдовала меня, — воскликнул Жюль, — ты заставляешь меня раскаиваться.

— Бедный друг, судьба сильнее нас, и я не властна в своей судьбе. Завтра мне нужно будет выйти из дому.

— В котором часу? — спросил Жюль.

— В половине десятого.

— Клеманс, — ответил г-н Демаре, — побереги себя, посоветуйся с доктором Депенном и со стариком Одри.

— Лучшие советчики — сердце и мужество.

— Я предоставляю тебе свободу и навещу тебя завтра в полдень.

— Ты не посидел бы со мной немного сегодня вечером? Я чувствую себя совсем здоровой.

Окончив дела, Жюль вернулся к жене, движимый непреодолимым влечением. Любовь его была сильнее всех мук.

На другой день, около девяти часов утра, Жюль вырвался из дому, помчался на улицу Анфан-Руж, взбежал по лестнице и позвонил ко вдове Грюже.

— Ага! вы держите слово! Точны, как заря небесная! — сказала, узнав его, старая позументщица. — Входите же, сударь. Я вам приготовила чашку кофе со сливками, на случай если... — И, закрывая дверь, прибавила: — Ах! с самыми настоящими сливками, надоили эту крыночку у меня на глазах в молочном заведении, что у нас на рынке Анфан-Руж.

— Спасибо, сударыня, мне ничего не нужно. Проводите меня...

— Ладно, ладно, дорогой барин. Пройдите сюда.

Вдова проводила Жюля в комнату, расположенную над её квартирой, и с торжеством показала отверстие величиною с монету в сорок су, просверлённое ночью, с таким расчётом, чтобы оно выходило в комнату Феррагуса в самом высоком и тёмном месте, между узорами обоев. В обеих комнатах отверстие приходилось над шкафами. Незначительные повреждения, сделанные слесарем, не оставили поэтому заметных следов ни с той, ни с другой стороны стены, и в темноте было очень трудно обнаружить эту своеобразную бойницу. Чтобы, дотянувшись до неё, хорошо все рассмотреть, Жюлю пришлось сохранять все время напряжённую позу, стоя на скамейке, которую позаботилась принести г-жа Грюже.

— У него там какой-то господин, — сказала, уходя, старуха.

Жюль действительно рассмотрел человека, занятого перевязыванием ран, вызванных ожогами, на плечах Феррагуса, лицо которого он узнал по описанию барона де Моленкура.

— Как ты думаешь, скоро я поправлюсь? — спросил Феррагус.

— Не знаю, — ответил незнакомец, — но если верить врачам, придётся сделать по меньшей мере перевязок семь-восемь.

— Ну, что же, до вечера, — сказал Феррагус, протягивая руку человеку, когда тот наложил последнюю повязку.

— До вечера, — ответил незнакомец, сердечно пожимая руку Феррагуса. — Мне хотелось бы, чтобы поскорей окончились твои страдания.

— Завтра наконец нам передадут бумаги господина де Функа-ла, и Анри Буриньяр будет похоронен навсегда. Два роковых письма, которые дорого нам обошлись, больше не существуют. Итак, я снова стану существом, приемлемым в обществе, человеком среди людей, и, право, я ничем не хуже того моряка, доставшегося на съедение рыбам. Видит Бог, не для себя превращаюсь я в графа!

— Бедный Грасьен! Ты самый светлый ум среди нас, наш возлюбленный брат, любимец нашей банды; ты сам это знаешь.

— Прощай! Послеживайте хорошенько за моим Моленкуром.

— На этот счёт будь спокоен.

— Послушай, маркиз! — окликнул уходящего незнакомца старый каторжник.

— Что такое?

— Ида способна на все после вчерашней сцены. Если она бросится в воду, я, разумеется, не стану её оттуда вылавливать, там она гораздо лучше сохранит тайну моего имени, единственную известную ей тайну; но ты все-таки присмотри за ней: право же, она славная девка.

— Ладно.

Незнакомец удалился. Не прошло и десяти минут, как Жюль, охваченный лихорадочной дрожью, услышал характерный шорох шёлкового платья и, казалось ему, узнал шаги жены.

— Ну, вот и я, отец, — сказала Клеманс. — Бедный отец, как вы себя чувствуете? Какое мужество!

— Подойди ко мне, дитя моё, — ответил Феррагус, протягивая ей руку.

Клеманс склонилась к нему, и он поцеловал её в лоб.

— Но что с тобой, девчурка? Что за новые горести?..

— Горести? Нет, отец, это гибель вашей дочери, которую вы так любите. Я ведь уже писала вам вчера, как необходимо, чтобы вы своим изобретательным умом изыскали способ повидаться с моим бедным Жюлем сегодня же. Если бы вы знали, как он ласков со мной, несмотря на подозрения, казалось бы, такие обоснованные! Отец, для меня любовь — вся жизнь моя. Неужели вы хотите моей смерти? Ах! я исстрадалась! Я чувствую, что моя жизнь в опасности.

— Потерять тебя, моя дочь, — сказал Феррагус, — потерять тебя из-за любопытства какого-то ничтожного парижанина! Я сожгу Париж. Ах! ты знаешь, что такое возлюбленный, но не знаешь, что такое отец.

— Отец, мне страшно, когда вы смотрите на меня так. Не кладите на одни весы столь различные чувства. Я любила мужа ещё до того, как узнала, что отец мой жив... .

— Пусть муж был первым, кто поцеловал твой лоб, — ответил Феррагус, — но я первый оросил твой лоб слезами... Успокойся, Клеманс, открой мне свою душу. Я люблю тебя настолько, что буду счастлив одним лишь сознанием твоего счастья, хотя в сердце твоём почти нет места для отца, а моё сердце ты заполняешь все целиком.

— Боже мой, ваши слова, отец, приносят мне слишком много радости. Вы заставляете меня любить вас ещё больше, и мне кажется, я как-то обкрадываю Жюля. Но, дорогой отец, подумайте только, ведь он в отчаянии. Что я скажу ему через два часа?

— Дитя! разве я и без твоего письма не спас бы тебя от несчастья, которое тебе угрожает? А какая участь постигает тех, кто решается омрачить твоё счастье или стать между нами? Неужели ты никогда не чувствовала некое второе провидение, которое оберегает тебя? Разве ты не знаешь, что двенадцать человек, исполненных силы и разума, стоят на страже твоей любви и твоей жизни, готовы на все, чтобы вас охранять? Разве не твой отец, рискуя жизнью, приходил любоваться тобой на прогулках или в восхищении смотреть на тебя по ночам у твоей матери, когда ты спала в своей кровати? Разве не твоему отцу одно только воспоминание о твоих ласках давало силы жить в те дни, когда человек чести должен убить себя во избежание позора? Ведь я твой отец, я дышу только твоими устами, смотрю только твоими очами, чувствую только твоим сердцем, так неужели же я не защищу львиными когтями, всей силой отцовской души единственное моё благо на земле, мою жизнь, мою дочь?.. Да, после смерти моего ангела, твоей матери, я мечтал только об одном — о счастье признать тебя дочерью, сжать тебя в объятиях перед лицом неба и земли, похоронить навеки каторжника... — Он на минуту замолк, а затем продолжал: — Я мечтал вернуть тебе отца, быть вправе без стыда пожать руку твоему мужу, чтобы спокойно жить в ваших сердцах и говорить всему свету, указывая на тебя: «Вот моё дитя!» Я мечтал насладиться наконец своим отцовством.

— Ах, отец, отец!

— После великих трудов, обыскав весь земной шар, — продолжал Феррагус, — мои друзья нашли мне человеческую шкуру, которую я могу на себя напялить. Через несколько дней я предстану перед всеми как господин де Функал, португальский граф. Право, доченька моя, не у многих людей в мои годы хватило бы терпения изучить португальский и английский языки, которые этот чёртов моряк знал в совершенстве.

— Дорогой отец!

— Все предусмотрено, пройдёт ещё несколько дней, и его величество Иоанн Шестой,

король португальский, станет моим сообщником. Тебе надо только немного терпения, у твоего отца его оказалось очень, очень много. Но для меня это было совсем просто. На что не пошёл бы я, чтобы вознаградить твою преданность в течение последних трех лет! Ты приходила ко мне, ты считала своим святым долгом утешать старого отца, рисковала ради него своим счастьем.

— Отец!

Клеманс схватила руки Феррагуса и покрыла их поцелуями.

— Ну, ещё немного мужества, Клеманс! Сохраним до конца страшную тайну. Жюль — незаурядный человек, но все же нельзя поручиться, что именно его благородный характер и огромная любовь к тебе не станут причиной некоторого презрения к дочери...

— Ах! этого-то я и боюсь! Вы читаете в моем сердце, — сказала Клеманс душераздирающим голосом. — Мысль о Жюле леденит меня. Но, отец, подумайте, ведь я обещала ему через два часа открыть всю правду.

— Что же, дитя моё, скажи ему, пусть отправится в португальское посольство поговорить с твоим отцом, графом де Функалом, я буду там.

— Да ведь господин де Моленкур рассказывал ему о Феррагу-се! Ах, отец, этот обман, обман без конца — что за пытка!

— Кому ты это говоришь? Но ещё несколько дней, и во всем свете не сыщется ни одного человека, который мог бы меня разоблачить. К тому же господин де Моленкур и теперь уже, наверное, не в состоянии что-либо вспомнить... Ну, глупышка, утри слезы и сама рассуди...

В эту минуту страшный крик раздался в комнате, где притаился Жюль Демаре.

— Моя дочь! Моя несчастная дочь!

Этот вопль проник через отверстие, просверлённое над шкапом, и поразил ужасом Феррагуса и г-жу Демаре.

— Поди узнай, что случилось, Клеманс.

Клеманс поспешно сошла по лестнице, увидела открытую настежь дверь г-жи Грюже, но, услышав крики, доносившиеся сверху, поднялась на третий этаж, привлечённая звуком рыданий в роковой комнате, и уже с порога услышала, как г-жа Грюже говорила:

— Это все вы, сударь, вы сгубили её своими причудами.

— Да замолчите же! — сказал Жюль, пытаясь заткнуть ей рот платком, но вдова кричала:

— Спасите! Спасите! Убивают!

В эту минуту в комнату вошла Клеманс, увидела мужа, вскрикнула и убежала.

— Кто вернёт мне дочь? — воскликнула вдова после длительного молчания. — Вы убили её!

— Но что случилось? — рассеянно спросил г-н Жюль, подавленный тем, что жена узнала его.

— Читайте, сударь, — крикнула старуха, заливаясь слезами. — Найдётся ли на свете такая рента, чтобы утешить в подобном горе!

«Прощай, матушка! Завещаю тебе все, что имею. Прости меня завсе пригрешения и запоследнее горе, что причиняю тебе, накладывая на тебя руки. Анри, которого я люблю больше себя самой, сказал, что я виновата в его несчастье, он оттолкнул меня, и я потеряла всякую надежду на примирение, и вот поэтому я утоплюсь. Я брошусь в Сену выше Нейи, чтобы меня не доставили в морг. Если после того, как я покараю себя смертью, Анри смилуется надо мной, попроси его похоронить бедную девушку, чьё сердце билось для него одного, и пусть простит он меня — я была неправа, вмешиваясь в чужие дела. Осторожно перевязывай его ожоги. Бедный котик, как он страдает! Но и мне, чтоб покончить с собой, надо не меньше мужества, чем ему для его прижиганий. Отдашь готовые корсеты моим заказчикам. И помолитесь Богу завашу дочь.

Ида ».

— Передайте это письмо господину де Функалу, тому господину, что в соседней комнате. Только он может спасти вашу дочь, если ещё не поздно, — сказал Жюль и поспешил скрыться, словно был виновен в преступлении.

Ноги его дрожали. Никогда ещё кровь таким горячим, обильным потоком не прилиwała к его сердцу, никогда ещё она с такой необычайной стремительностью не разливалась по всему его телу. Самые противоречивые мысли сталкивались в его мозгу, но над всеми преобладала одна: он подло поступил с той, кого любил больше всего на свете. Он был не в силах заглушить укоры своей совести, которая, после всего совершённого им, с такой ясностью твердила ему то же самое, что ещё раньше, даже в часы самых мучительных сомнений, нащёптывала ему любовь. Он проблуждал по Парижу большую часть дня, не смея вернуться домой. Этот честный человек дрожал при мысли о том, как посмотрит он в безупречно чистые глаза не понятой им женщины. Нет единой мерки, которой люди измеряют свою вину, и то, что одному может показаться незначительным житейским проступком, другому, человеку с чистою душой, представляется подлинным преступлением. Само слово «чистота» не полно ли небесной музыки? И малейшее пятнышко на белом одеянии девственницы не так ли оскорбляет взоры, как и грязные лохмотья нищего? Различие здесь столь же неопределённо, как и различие между несчастьем и ошибкой. Бог устанавливает меру для раскаяния, не разделяя его по степеням, — он требует полного покаяния, и потому искупить одно прегрешение все равно что искупить целую грешную жизнь. Размышления эти подавляли Жюля всей своей тяжестью, ибо страсть так же сурова в своих обвинениях, как и человеческие законы, но судит правильнее: разве не опирается она на свою особую совесть, непогрешимую, как инстинкт? Жюль возвратился домой в отчаянии, бледный, угнетённый сознанием своей вины; но радость, которую он ощущал при мысли о невинности жены, вырывалась наружу против его воли. Дрожа от волнения, вошёл он в спальню. Клеманс лежала в постели, её лихорадило; он сел около неё, взял её руку и поцеловал, обливая слезами.

— Ангел мой милый, — сказал он ей, когда они остались вдвоём, — ты видишь, как я раскаиваюсь!

— В чем? — отозвалась она.

Проговорив эти слова, она склонила голову на подушку, закрыла глаза и замерла в неподвижности, с материнской, ангельской чуткостью скрывая свои страдания, чтобы не напугать мужа. В этом сказала она вся. Молчание длилось и длилось. Жюль, думая, что Клеманс заснула, пошёл расспросить Жозефину о здоровье её хозяйки.

— На барыне лица не было, когда она вернулась, сударь. Мы ходили за доктором Одри.

— Был он? Что сказал?

— Ничего, сударь. Он словно был озабочен, не позволил никого пускать к барыне, кроме сиделки, и обещал, что зайдёт ещё вечером.

Жюль тихонько вернулся к жене, сел в кресло у постели и сидел не шевелясь, жадно ловя взор Клеманс; стоило ей приоткрыть глаза, как тотчас же они встречались с глазами Жюля, и сквозь её отяжелевшие веки навстречу его взгляду устремлялся нежный взгляд, полный страсти, без тени упрёка или горечи, взгляд, который, словно огненная стрела, поражал сердце мужа, великодушно прощённого и неизменно любимого этим существом, которое он убивал. Смерть стояла между ними — оба с одинаковой ясностью предчувствовали её. Из глаз их струилась от одного к другому одна, общая тоска, как прежде сердца их нераздельно, неразличимо сливались в общей любви. Никаких расспросов, все было ясно и неотвратимо. Беззаветное великодушие — у жены, ужасные угрызения — у мужа; и у каждого в душе один и тот же призрак близкой развязки, одно и то же чувство обречённости.

Была минута, когда, думая, что жена заснула, Жюль нежно поцеловал её в лоб, долго-долго смотрел на неё и произнёс:

— Господи, сохрани мне этого ангела, дай искупить мне мой грех перед ней долгим

поклонением... Как дочь, она полна святого величия, как жена... но разве определишь это словом?

Клеманс открыла глаза, они были полны слез.

— Не мучай меня, — сказала она ему слабым голосом.

Наступил вечер, пришёл доктор Одри и попросил мужа удалиться на время осмотра. Когда доктор вышел к Жюлю, тот не задал ему ни единого вопроса, он понял все с первого взгляда.

— Созовите консилиум из врачей, которым вы доверяете, я могу ошибаться.

— Но, доктор, скажите все. Я — мужчина и найду в себе силы выслушать правду, к тому же мне чрезвычайно важно её знать, так как придётся кое с кем свести счёты...

— Госпожа Демаре перенесла смертельное потрясение, — ответил врач. — Усилившиеся душевные страдания осложняют её тяжёлую болезнь; вдобавок состояние больной ухудшилось из-за её неосторожности: ночью она вставала с постели и ходила по комнате босиком; я запретил ей выходить из дому, она же отправилась вчера куда-то пешком, а сегодня в экипаже. Она сама себя погубила. Впрочем, моё суждение нельзя считать непреложным — молодость, поразительный нервный подъем... Возможно, следует рискнуть всем, раз ничего другого не остаётся, — прибегнуть к некоторым сильно действующим средствам; но я не решусь их прописать, я даже не посоветую обратиться к ним, а на консилиуме буду возражать против них.

Жюль вернулся к жене. Одиннадцать дней и одиннадцать ночей не отходил он от постели жены, только днём разрешал он себе немного подремать, прислонясь головою к кровати. Никогда никто ещё не проявлял такой ревливой заботливости и такой властной преданности, как Жюль. Он не допускал, чтобы кто-либо оказывал даже самые незначительные услуги его жене; он, не отпуская, держал её за руку и, казалось, таким путём хотел влить в неё жизнь. Он пережил часы тревоги, мимолётные радости, счастливые дни, улучшения, кризисы — словом, все ужасные отсрочки, даваемые смертью, которая медлит, колеблется, но в конце концов поражает. Г-жа Демаре все время находила в себе силы улыбаться мужу; она скорбела о нем, чувствуя, что скоро он осиротеет. То была двойная агония, агония жизни и любви; но жизнь, уходя, слабела, а любовь все возрастала. Наступила страшная ночь, когда Клеманс металась в бреду, как это бывает перед смертью у всех молодых существ. Она говорила о своей счастливой любви, об отце, она рассказывала о признаниях своей матери на смертном одре и об обязанностях, которые та на неё возложила. Она боролась не во имя жизни, а во имя страсти, с которой не хотела расставаться.

— Боже, — молила она, — не допусти, чтобы он узнал, как я жажду умереть с ним вместе!

Жюль в это время, не в силах выдержать тяжёлое зрелище, вышел в соседнюю гостиную и не слышал о её желании, а то бы он его исполнил.

Когда кризис прошёл, к г-же Демаре вернулись силы. На другой день она снова стала прекрасной, спокойной; она разговаривала, в ней пробудились надежды, она принарядилась, как принарядяются больные. Затем она пожелала, чтобы её оставили одну на целый день, и с такой настойчивостью просила мужа уйти, что он не мог ей отказать, как нельзя отказать ребёнку. Впрочем, Жюлю самому необходимо было иметь этот день в своём распоряжении. Он направился к г-ну де Моленкуру, чтобы потребовать у него условленного между ними смертельного поединка. С великими трудностями добрался он до виновника своих несчастий, — все же видам, узнав, что дело касается вопроса чести, и подчиняясь предрассудкам, которыми всегда руководился в жизни, провёл Жюля к барону. Войдя, г-н Демаре стал искать глазами г-на де Моленкура.

— Да, это он и есть, смотрите! — сказал командор, указывая на какого-то человека, сидевшего в кресле у камина.

— Господин Демаре... А кто это такой? — спросил умирающий разбитым голосом.

Огюст совершенно потерял способность, без которой нельзя жить, — память. При виде его Жюль отступил в ужасе. Он не мог узнать изящного молодого человека в существе,

которому, по выражению Боссюэ, ни на одном языке не нашлось бы имени. Это был воистину какой-то труп — кожа да кости — с седыми волосами, с морщинистым, увядшим, иссохшим лицом, с неподвижными белесыми глазами, с безобразно отвисшей челюстью, как у помешанных или как у распутников, умирающих от излишеств. Ни следов разума во взгляде, в очертаниях лба, ни кровинки в лице. Словом, это было какое-то съёжившееся, истаявшее существо, доведённое до того состояния, в каком находятся музейные уродцы, хранимые в сосудах со спиртом. Жюлю почудилось, что над этой головой реет грозный лик Феррагуса, и перед таким полным мщением отступила сама ненависть. Супруг нашёл в своём сердце жалость к этим сомнительным останкам человека, ещё недавно совсем молодого.

— Как видите, дуэль уже состоялась, — проговорил командор.

— Но сколько людей погубил сам господин Моленкур! — с горечью воскликнул Жюль.

— И каких дорогих сердцу людей! — прибавил старик. — Его бабушка умирает с горя.

Вероятно, и я скоро последую за ней в могилу.

На другой день после этого посещения г-жа Демаре чувствовала себя все хуже и хуже с каждым часом. Она воспользовалась мгновением, когда ей стало немного легче, вынула из-под подушки письмо, поспешно передала его Жюлю и сделала знак, который нетрудно было понять. Клеманс хотела передать ему в поцелуе последнее дыхание жизни, он принял его, и она умерла. Жюль упал как подкошенный, и его отвезли к брату. А когда там, рыдая и безумствуя, он начал исступлённо корить себя, что накануне уходил на целый день, брат заверил его, что Клеманс сама желала его ухода, чтобы он не присутствовал при религиозной церемонии, которая сопровождает последнее приобщение.

— Ты не выдержал бы, — сказал ему брат. — Я сам был не в силах смотреть, и все слуги заливались слезами. Клеманс была словно святая. Она собралась с силами, чтобы проститься с нами, и этот голос, который мы слышали в последний раз, раздирал нам сердце. Когда она стала просить прощения за невольные обиды, которые, может быть, нанесла тем, кто ей служил, все зарыдали, так зарыдали..

— Довольно, — сказал Жюль, — довольно!

Он хотел остаться один, чтобы узнать из письма о последних мыслях этой прелестной женщины, увядшей, как увядает цветок.

* * *

«Возлюбленный мой, это моё завещание. Отчего не завещать сокровищ сердца, как и всякое иное достояние наше? Разве моя любовь — не все моё достояние? Я не хочу говорить здесь ни о чем, кроме своей любви: она — все богатство твоей Клеманс и все, что она может завещать тебе умирая. Жюль, я ещё любима, я умираю счастливой. Врачи по-своему объясняют мою смерть, я одна знаю её настоящую причину. Ты должен узнать её, какие бы муки ни доставило это тебе. Я не хочу унести в сердце, целиком тебе принадлежащем, какую-либо скрытую от тебя тайну, умирая жертвой вынужденной скрытности.

Жюль, я была вскормлена и воспитана в полнейшем уединении, вдали от пороков и лжи света, той прекрасной женщиной, которую ты знал. Общество отдавало должное ее светским достоинствам, которые оно ценит в людях, но я тайно наслаждалась ее небесной душой, я не могла не дорожить матерью, которая наполнила мое детство безоблачной радостью, и я хорошо понимала, за что так люблю ее. Не значило ли это любить вдвойне? Да, я любила ее, боялась ее, уважала ее, и ничто не тяготило моего сердца, ни уважение, ни боязнь. Я была всем для нее, и она была для меня всем. Девятнадцать совершенно счастливых, беззаботных лет моя душа, одинокая среди бушевавшего вокруг меня мира, отражала лишь чистейший образ матери, и сердце мое жило только ею и только ради нее. Я была на редкость благочестива и старалась быть чистой перед Богом. Моя мать развивала во мне все благородные и гордые чувства. Ах! я с радостью признаюсь тебе, Жюль, теперь я понимаю, что была тогда сущим ребенком, что отдала тебе девственное сердце. Когда я

покинула это полное уединение, когда я впервые убрала волосы для бала, украсив их венком из цветущего миндаля, и прибавила несколько шелковых бантов к платью, мечтая о свете, который мне предстояло узнать и было так любопытно узнать, — пойми, Жюль, тогда это невинное и скромное кокетство предназначалось именно для тебя, ибо, вступив в свет, тебя первого я увидела. Твое лицо сразу меня привлекло, оно выделялось среди всех остальных, весь твой облик понравился мне; твой голос, твои манеры пробудили в груди у меня сладостные предчувствия; минута, когда ты подошел и заговорил со мной — и сам при этом покраснел, а голос твой задрожал, — запечатлелась в моей памяти, я трепещу еще и сейчас, когда пишу тебе об этом в своем последнем письме. Сначала наша любовь казалась нам лишь живейшей симпатией, но скоро мы оба догадались о ней и тотчас ее разделили, как делили с тех пор все ее неисчислимые радости. И тогда мать отступила в моем сердце на второй план. Я признавалась ей в этом, и она улыбалась, чудесная женщина! Затем я стала твоей, всецело твоей. Вот моя жизнь, вся моя жизнь, дорогой мой супруг. А теперь мне надо еще рассказать тебе кое-что. Однажды вечером, за несколько дней до своей смерти, мать, обливаясь горячими слезами, открыла мне тайну своей жизни. Я еще сильнее полюбила тебя, когда прежде священника, призванного отпустить грехи матери, узнала историю ее страсти, такой страсти, которая осуждается светом и церковью. Бесспорно, Бог не должен судить слишком строго прегрешения столь нежной души, какая была у моей матери, но этот ангел так и не согласился покаяться. Она горячо любила, Жюль, она была сама любовь. И я молилась за нее всю свою жизнь, не осуждая ее. И в тот вечер я поняла причину ее живой материнской нежности; я узнала, что в Париже есть человек, для которого я воплощала в себе и жизнь и любовь; что богатство твое было делом его рук и что он тебя любит; что он изгнан из общества, что имя его опозорено и он страдает от этого, но страдает не за себя, а за меня, за нас. Мать моя была его единственным утешением, но мать умирала, и я обещала ее заменить. Привыкшая быть всегда чистосердечной, я со всем пылом чувства сочла за счастье смягчить горечь, отравлявшую последние минуты моей матери, и обязалась продолжать ее тайное благодеяние, благодеяние сердца. Впервые я увидела отца у постели только что скончавшейся матери, — когда он поднял полные слез глаза, во мне он вновь обрел все свои погибшие надежды. Я поклялась — не лгать, нет, но хранить молчание, да и какая женщина нарушила бы это молчание? Вот мой грех, Жюль, грех, искупаемый смертью. Я усомнилась в тебе. Но страх так понятен у женщины, и особенно у женщины, знающей, как много она может потерять. Я дрожала за свою любовь. В тайне моего отца я видела смертельную угрозу для моего счастья, и чем сильнее я любила, тем сильнее боялась. Я не решалась признаться в этом чувстве своему отцу; это могло бы оскорбить его, задеть его болезненное место. Но он и сам, не признаваясь мне в этом, разделял мои опасения. Его сердце, полное отцовских чувств, трепетало за мое счастье так же, как мое сердце, но и он тоже не решался об этом говорить, душевная чуткость побуждала его молчать так же, как молчала я. Да, Жюль, меня мучила мысль, что наступит день, когда ты не сможешь любить дочь Грасьена так, как ты любил твою Клеманс. Если бы не этот страх, разве я скрывала бы что-нибудь от тебя, от тебя, кем полно было мое сердце даже и в этом тайном своём ужасе? В день, когда проклятый, несчастный офицер заговорил с тобой, я вынуждена была солгать. В тот день я второй раз в жизни познала скорбь, и скорбь моя все усиливалась вплоть до настоящей минуты, когда я беседую с тобой в последний раз. Какое имеет значение теперь положение моего отца? Тебе все известно. Быть может, в своей любви я обрела бы силы, чтобы преодолеть болезнь, перенести все муки, но я не могла бы заглушить голоса сомнений. А вдруг из-за моего происхождения омрачится твоя чистая любовь, вдруг она уменьшится, станет слабеть? Этот страх я не в силах была побороть. Вот причина моей смерти, Жюль. Я не могла бы жить, боясь одного слова, одного взгляда — слова, которого, вероятно, ты никогда не сказал бы, взгляда, которого ты никогда не бросил бы на меня. Но что же делать? Я их боюсь. Я умираю любимая, вот моё утешение. Я узнала, что отец с друзьями за последние четыре года почти перевернули весь свет, чтобы этот свет обмануть. Желая дать мне положение, они купили мёртвую душу, незапятнанное имя, имущество, — все это для

того, чтобы живого человека вернуть к жизни, все это для тебя, для нас. Мы не должны были ничего этого знать. Ну, а теперь моя смерть, конечно, избавит отца от необходимости этой лжи, он сам умрёт, узнав, что я умерла. Прощай же, мой Жюль, здесь все моё сердце, все целиком. Изливая тебе свою любовь, безупречную и все же терзаемую страхом, разве не отдаю я тебе всю душу? У меня не стало бы сил с тобой говорить, но я нашла силы написать тебе. Я только что исповедовалась перед Богом в своих прегрешениях, я должна теперь помышлять только о царе небесном; но я не могла отказать себе в последней радости — исповедаться и перед тем, кто был все для меня здесь, на земле. Увы! Кто не простит мне этот последний вздох между жизнью уходящей и жизнью грядущей? Прощай же, мой любимый Жюль, я иду к Богу, туда, где любовь всегда безоблачна, где когда-нибудь будешь пребывать и ты. Там, пред его престолом, мы будем любить друг друга во веки веков. Эта надежда — единственное моё утешение. Если я удостоилась вознестись туда раньше тебя, я буду оттуда сопутствовать тебе в жизни, душа моя будет парить над тобой, осенять тебя своим покровом, пока ты будешь оставаться на земле. Веди же праведную жизнь, чтобы непременно соединиться там со мной. Ты можешь сделать столько добра на земле! Сеять вокруг себя радость, дарить то, чего лишён сам, — разве это не святое призвание для всех страждущих? Я оставляю тебя беднякам. Только их улыбки, только их слезы не возбудят во мне ревности, не омрачат моего спокойствия. Нам ещё суждено испытать великие радости в этих тихих благодеяниях. Не будем ли мы снова жить единой жизнью, если ты станешь творить эти добрые дела во имя твоей Клеманс? После той любви, которая связывала нас, душе доступна лишь любовь к Богу. Бог не лжёт, Бог не обманывает. Поклоняйся только ему, исполни мою волю.

Почитай его, помогая несчастным, облегчая участь страждущих детей его. Дорогой Жюль, жизнь моя, прощай. Я знаю тебя: в душе твоей — я одна, ты не можешь любить дважды. Да, я умираю, счастливая мысль, которая сделала бы счастливой каждую женщину. Я знаю, могилой мне будет твоё сердце. Разве после детских лет, о которых я рассказала тебе, я не жила всю жизнь в твоём сердце? Ты и после смерти моей никогда не изгонишь меня отсюда. Я горда этой единой жизнью! Ты знал меня только в цвете юности, я оставляю тебе сожаление, но не разочарование. Это очень счастливая смерть, дорогой Жюль. Ты ведь так хорошо меня понимал — исполни же одно моё желание, быть может и суетное, женскую прихоть, завет ревности, которой мы все подвержены. Я прошу тебя, сожги все, что нам принадлежало, разрушь нашу спальню, уничтожь все, что может напоминать о нашей любви.

Ещё раз — прости! Последнее прости, полное любви, как будет полна ею последняя моя мысль, последнее моё дыхание».

Когда Жюль прочёл письмо, его охватило такое исступление чувств, страшные порывы которого невозможно и передать. Страдания каждый проявляет по-своему, внешнее выражение их не подчиняется никаким правилам: некоторые затыкают себе уши, чтобы ничего не слышать; некоторые женщины закрывают глаза, чтобы ничего не видеть; наконец, встречаются благородные, великие души, которые погружаются в горе, как в бездну. И все это — подлинные знаки отчаяния. Жюль вырвался от брата к себе домой, желая провести ночь подле жены и до последней минуты смотреть на это небесное создание. Он шёл по улицам, не глядя по сторонам, забыв о всякой осторожности, как это бывает с людьми, дошедшими до крайнего предела страданий, и ему было понятно, почему в Азии закон не допускает, чтобы муж и жена переживали друг друга. Он жаждал смерти. Он был не подавлен горем, а лихорадочно возбуждён им. Без помех дошёл он до своего дома, поднялся по лестнице в священную для него спальню; там увидел он свою Клеманс на ложе смерти, прекрасную, как святая, с венцом из кос вокруг головы, со сложенными на груди руками, уже окутанную саваном. Зажжённые свечи бросали отблеск на священника за молитвой, на коленопреклонённую, плачущую в углу Жозефину и на двух мужчин, стоявших у самой кровати. Один из них был Феррагус. Он стоял неподвижно и — без слез — не отрываясь

глядел на свою дочь; голова его, казалось, отлита была из бронзы; он не видел Жюля. Другой был Жаке, к которому г-жа Демаре всегда была неизменно добра. Жаке питал к ней благоговейную привязанность, одаряющую сердце безмятежною радостью, кроткою страстью, любовь без её желаний и бурь; и он пришёл отдать свой последний, священный долг, навеки сказать прости жене друга, впервые поцеловать ледяное чело существа, которое он в душе считал своей сестрою. Все здесь было безмолвно. Это была не грозная смерть, какой представляется она в церкви, не торжественная смерть, облечённая пышностью похоронных процессий, — а смерть, проскользнувшая под домашний кров, смерть трогательная; это был похоронный обряд, совершаемый в глубине сердца, слезы, скрытые ото всех. Жюль сел рядом с Жаке, пожал ему руку, и, не промолвив ни единого слова, все участники этой сцены пробыли так до утра. Когда свечи стали бледнеть с наступлением нового дня, Жаке, предвидя мучительные подробности при выносе тела, увёл Жюля в соседнюю комнату. В эту минуту муж взглянул на отца, а Феррагус взглянул на Жюля. Обе скорбящие души вопрошали, изучали друг друга — и поняли друг друга с одного взгляда. Вспышка гнева на миг осветила глаза Феррагуса.

«Ты, ты убил её!» — говорили его глаза.

«Почему вы не доверились мне?» — казалось, отвечал муж.

Это было подобно встрече двух тигров, которые, приготовившись к прыжку, изучают друг друга и, поняв бесплодность борьбы, расходятся, даже не издав рычания.

— Жаке, ты обо всем позаботился? — спросил Жюль.

— Обо всем, — ответил правитель канцелярии, — но меня повсюду опережал какой-то человек, который всем распоряжался и за все платил.

— Он отнимает у меня свою дочь! — воскликнул муж в неистовом приступе отчаяния.

Он бросился в спальню жены, но отца уже не было. Клеманс лежала в свинцовом гробу, и рабочие готовились его запаять. Охваченный ужасом при виде этой сцены, он вернулся к себе в кабинет, но и туда донёсся стук молотка. Жюль невольно залился слезами.

— Жаке, — сказал он, — после этой ужасной ночи мною завладела одна мысль, одна-единственная, но я должен осуществить эту мысль во что бы то ни стало. Я не хочу, чтобы Клеманс покоилась на парижском кладбище. Я хочу её сжечь, собрать пепел и сохранить его. Не разговаривай со мною об этом, но сделай так, чтобы все устроилось. Я запрусь в её спальню и буду там до отъезда. Только тебя одного я велю впускать ко мне, чтобы ты рассказывал обо всем, что будет тобою предпринято... Иди, не жалея никаких средств.

В это утро гроб г-жи Демаре, освещённый множеством свечей, был выставлен в дверях дома, а затем отвезён в церковь Святого Роха. Вся церковь была затянута траурными тканями. Роскошь, какой была обставлена заупокойная служба, привлекла множество народа, ибо в Париже все превращается в зрелище, даже самая искренняя скорбь. Немало находится людей, которые высовываются из окон, чтобы посмотреть, как плачет сын, идя за гробом своей матери; немало находится и таких, которые стараются устроиться поудобнее, чтобы увидеть, как на плаху падёт голова. Ни у одного народа в мире нет более ненасытных глаз. Особенно все глазели на шесть боковых приделов Святого Роха, также затянутых чёрными тканями. В каждом приделе заупокойную обедню слушали только два человека, в траурном одеянии. На хорах не видно было никого, кроме г-на Демаре-нотариуса и Жаке; да за оградой стояли слуги. Подобная пышность при столь малочисленной родне казалась непонятной для церковных зевак. Жюль не хотел допустить на эту церемонию ни одного постороннего лица. Соборная обедня была совершена со всем мрачным великолепием погребальной службы. Помимо обычных служителей церкви Святого Роха, присутствовало ещё тринадцать священников из других приходов. И, может быть, на незваных молельщиков, собравшихся случайно, из любопытства, но жадных до ощущений, никогда ещё Вле\$ ггае не производил столь потрясающего впечатления, леденящего душу, какое произвёл этот гимн тогда, когда голоса восьми певчих, соединившись с голосами священников и мальчиков, поочерёдно запели его. Из шести боковых приделов в общий хор влилось двенадцать

детских голосов, зазвучав горькой скорбью и жалобой. По всей церкви клубился ужас; повсюду воплям отчаяния вторили вопли страха. Эта потрясающая музыка, оплакивая усопшую, рассказывала о неведомых миру горестях, о чьей-то затаённой любви. Никогда, ни в какой религии ужас души, насильственно отделённой от тела и содрогающейся перед грозным величием Бога, не передавался с такой мощью. Перед подобным воплем воплей меркнут самые страстные творения художников. Нет, ничто не может соперничать с этой песнью, которая заключает в себе все человеческие страсти и как бы гальванизирует их по ту сторону гроба, так что они трепещут жизнью, представ пред лицом Бога живого и карающего. Эти песнопения смерти, в которых сочетаются детский плач и жалобы взрослых, воспроизводят всю жизнь человека, возраст за возрастом, — напоминают о страданиях в колыбели, переполняются всеми муками более поздних лет, звучащими в глубоких стенаниях мужчин, в надтреснутых голосах старцев и священников; вся эта душераздирающая гармония, насыщенная громами и молниями, поражает самое неустрашимое воображение, самое холодное сердце самого трезвого философа! Кажется вам, что вы слышите гром Божий. Ни в каком храме своды не остаются спокойны; они содрогаются, они говорят, они извергают страх всеми своими мощными отголосками. Вам чудится, что бесчисленные мертвецы встанут отовсюду, воздевая руки. Нет уже ни отца, ни жены, ни дитяти, покоящихся под чёрным покровом, есть человечество, восстающее из праха. Невозможно судить о римско-католической апостольской религии, пока не испытаешь величайшую из скорбей, не оплачешь любимое существо, покоящееся в гробу, пока не ощутишь всех чувств, волнующих тогда душу и воплощённых этим гимном отчаяния, этими криками, надрывающими сердце, этими страхами, в которых все нарастает и нарастает благоговейный ужас, чтобы, взвиваясь к небу, поразить, повергнуть ниц, а затем возвысить душу и потрясти её ощущением вечности в то мгновение, когда замирает последний стих. Вы только что прикоснулись к великой идее бесконечного — и все замолкает в церкви. Никто не проронит ни слова, даже неверующие, и те не *понимают, что происходит с ними*. Лишь испанский гений мог найти столь потрясающе великолепное выражение для самой потрясающей из скорбей.

Когда отпевание закончилось, из шести приделов вышли двенадцать человек, облачённых в траур, и, окружив гроб, прослушали песнь надежды, которую церковь поёт душе усопшего, перед тем как предать земле его смертный прах. Затем каждый из двенадцати сел в траурную карету; Жаке и г-н Демаре сели в тринадцатую; слуги пошли пешком. Через час двенадцать незнакомцев уже прошли в верхнюю часть кладбища, называемого в просторечии Пер-Лашез, и окружили могилу, к которой со всех концов этого публичного сада стекались толпы любопытных. После краткой молитвы священник бросил горсть земли на останки женщины; и могильщики, попросив на выпивку, поспешили засыпать могилу, чтобы заняться следующей.

Здесь, казалось бы, и заканчивается эта история; но, пожалуй, она окажется неполной, если, дав беглый очерк парижской жизни, проследив причудливые её изгибы, ничего не сказать о том, что последовало за похоронами. Смерть в Париже не похожа на смерть ни в какой другой столице, и не много найдётся людей, знающих, какую мучительную борьбу с цивилизацией и парижскими властями приходится ещё выдерживать тем, кто предаётся истинной скорби. Да к тому же, быть может, г-н Жюль и Феррагус XXIII сами по себе достойны внимания, так что к развязке их жизни нельзя отнестись с безразличием. Наконец, немало людей желают до всего допытаться и, как выразился один наш остроумнейший критик, хотят знать, в результате какого химического процесса горит масло в лампе Аладдина. Жаке, как лицо административное, само собой разумеется, обратился к властям за разрешением отрыть тело г-жи Жюль и предать его сожжению. Он явился с этой просьбой к префекту полиции, под охраной коего покоятся мертвецы. Этот чиновник потребовал подачи письменного прошения. Пришлось купить лист гербовой бумаги, придать горю узаконенную форму, пришлось прибегнуть к бюрократическому жаргону, чтобы выразить желание удручённого человека, которому слов не хватает, пришлось в бездушной надписи на

полях прошения коротко передать его суть:

*Проситель ходатайствует
о сожжении тела
своей жены.*

Приняв бумагу, чиновник, который должен был доложить дело префекту полиции, государственному советнику, прочитал на полях надпись, где по его же требованию был ясно указан предмет прошения, и заявил:

— Но это дело серьёзное! Я могу подготовить доклад о нем не раньше чем через неделю.

Жюль, которому Жаке вынужден был сообщить об этой отсрочке, понял тогда Феррагуса, у которого как-то вырвалась угроза: «Сожгу Париж!» Ничто не показалось Жюлю естественнее желания уничтожить это вместилище самых чудовищных несообразностей.

— Тогда обратись к министру внутренних дел, — сказал он Жаке, — а своего министра попроси замолвить слово.

Жаке отправился к министру внутренних дел с просьбой принять его, что и было обещано ему сделать через две недели. Жаке был человек настойчивый. Он обивал пороги всех канцелярий, пока не добрался до личного секретаря министра, свидание с которым устроил ему личный секретарь министра иностранных дел. С помощью этих высоких покровителей Жаке добился на другой день мимолётной личной беседы, запасшись записочкой от самодержца ведомства иностранных дел к паше ведомства внутренних дел и надеясь взять крепость приступом. Он приготовил различные доводы, убедительные возражения, ответы на всякий случай, но все сорвалось.

— Я тут ни при чем, — сказал министр. — Все зависит от префекта полиции. Да и вообще говоря, нет такого закона, который отдавал бы в собственность мужьям тела их жён или в собственность отцам — тела их детей. Это дело серьёзное! Кроме того, возникают соображения общественной пользы, которые требуют внимательнейшего изучения вопроса. Могут пострадать интересы города Парижа. Словом, если бы даже все зависело непосредственно от меня, я не мог бы решить вопрос незамедлительно, сначала необходимо выслушать доклад.

Доклад в современном чиновничьем мире — нечто вроде преддверия рая в христианской религии. Жаке знал об этой докладомании и всегда возмущался нелепым бюрократизмом. Он знал, что со времени затопления докладами всех областей административной деятельности — то есть со времени переворота в канцеляриях, совершённого в 1804 году, — не было министра, который осмелился бы высказать собственное суждение, разрешить самый незначительный вопрос, без того чтобы это суждение, это решение не было рассмотрено со всех сторон, обнюхано, разобрано по косточкам бумагомараками, писаками — титанами канцелярской мысли. Жаке (один из немногих, достойных иметь своим биографом Плутарха) понял, что ошибся, дав такой ход этому делу, понял, что обрёк его на провал тем, что направил его по законным путям. Надо было просто перевезти тело г-жи Демаре в какое-нибудь поместье Жюля и там, под любезным покровительством деревенского мэра, осуществить желание своего бедного друга. Конституционная и административная законность не создаёт ничего, это чудовище бесплодно для народов, для королей и частных лиц; но народы научились с трудом разбирать лишь записанные кровью принципы, а все тяготы законности носят мирный характер; закон подавляет нацию — вот и все.

Жаке, свободомыслящий человек, возвращаясь от министра, мечтал о благодетельности произвола, ибо человек судит о законах лишь в свете собственных страстей. Когда Жаке пришёл к Жюлю, у него не хватило духу его обмануть, и несчастный пролежал после этого два дня в постели, терзаемый жестокой горячкой. Министр в тот же вечер на официальном

обеде рассказывал о фантастическом желании какого-то парижанина сжечь тело своей жены по примеру римлян. И вот парижское общество ненадолго увлеклось обсуждением античного погребения. Античность была тогда в моде, и некоторые её поклонники находили, что было бы прекрасно восстановить погребальные костры для великих мира сего. Это мнение нашло своих защитников и своих противников. Одни говорили, что великих людей стало чрезмерно много и что из-за этого обычая сильно вздорожают дрова, что французы — народ столь изменчивый в своих симпатиях, что было бы смешно на каждом перекрёстке наталкиваться на вереницы предков, кочующих в своих урнах; говорили ещё, что если бы эти урны обладали некоторой материальной ценностью, то не была бы исключена возможность продажи с торгов какого-нибудь почтённого праха в составе имущества, описанного за долги кредиторами, которые, мол, привыкли ничего не уважать. Другие возражали, что наши предки, пристроенные подобным образом, будут в большей безопасности, чем на кладбище Пер-Лашез, ибо в недалёком будущем Париж будет вынужден устроить Варфоломеевскую ночь своим мертвецам, которые захватили все окрестности и угрожают уже в один прекрасный день перекинуться на земли Бри. Словом, завязался один из пустых, шуточных парижских споров, которые слишком часто наносят очень глубокие раны. К счастью, Жюль ничего не подозревал обо всех тех разговорах, метких словечках и остротах, на какие вдохновляло парижан его горе. Префект полиции был возмущён, что г-н Жаке обратился к министру, уклонившись от неторопливого, но мудрого вмешательства полицейского надзора. Ведь останки г-жи Демаре подлежали полицейскому надзору. По сему случаю полицейская канцелярия из кожи вон лезла, чтобы похлеще ответить на прошение, ибо достаточно было одного ходатайства, чтобы административный аппарат завертелся и в своём круговороте до крайности запутал бы дело. Полицейское управление может довести любой вопрос до государственного совета — такой же малоподвижной машины. На следующий день Жаке дал понять другу, что надо отказаться от своего плана, что в городе, где оценивается по таксе каждый вершок траурного крепа, где законы устанавливают семь разрядов погребения, где земля продаётся для покойников на вес золота, где горе эксплуатируется по двойной цене, где за церковные молитвы платят бешеные деньги, где церковный причт требует оплаты каждого дополнительного голоса в *Dies irae*, — в таком городе всякое горе, выходящее из колеи бюрократически дозволенного, является недопустимым.

— Я мог быть счастлив в моей горькой доле, — говорил Жюль, — я лелеял мечту умереть вдали от Парижа и, лёжа в гробу, держать Клеманс в своих объятиях! Я не подозревал, что бюрократия запускает свои когти даже в наши могилы.

Затем ему захотелось пойти посмотреть, не найдется ли для него немного места рядом с женой. Оба друга направились на кладбище Пер-Лашез. У входа на кладбище, как у подъезда театра или музея, как у конторы дилижансов, их обступили гиды, предлагавшие показать им все закоулки Пер-Лашеза. Ни тот ни другой не мог найти место, где покоится Клеманс. Что за ужасная тоска! Они обратились с расспросами к кладбищенскому сторожу. У мертвецов имеется свой привратник, у них есть свои приемные часы. Пришлось бы пойти против всех правил высшей и низшей полиции тому, кто захотел бы поплакать ночью, в тиши и одиночестве, на могиле любимого существа. Есть зимние и летние правила. Безусловно, самый счастливый привратник в Париже — это привратник Пер-Лашеза. Прежде всего ему не приходится открывать двери своим мертвецам; затем, вместо каморки к его услугам дом, целое учреждение — правда, министерством его не назовешь, но все же под началом кладбищенского привратника находится огромное количество подопечных и несколько конторщиков; этот правитель мертвых получает жалованье и располагает огромной властью, тем более что на него никто и не может пожаловаться; его воля — закон. Домишко его не является и торговым предприятием, хотя здесь есть и контора, и бухгалтерия, подсчитывающая доходы, расходы, прибыль. Человек этот — ни швейцар, ни обычный привратник, ни дворник, — для покойников ворота всегда открыты настежь; хотя ему приходится следить за сохранностью памятников, но его нельзя назвать и смотрителем —

словом, это неопределенное, из ряда вон выходящее явление, власть, на все распространяющаяся и неуловимая, власть, выходящая из ряда вон, как сама смерть, благодаря которой она существует. Однако этот исключительный человек зависит от города Парижа, такого же химерического создания, как и корабль, служащий ему эмблемой, создания разумного, обладающего тысячью лап, весьма редко согласных в своем движении, в силу чего работающие на него чиновники почти несменяемы. Итак, кладбищенский сторож — это привратник, вознесенный до положения чиновника, неизменно, при всех переменах, остающегося на своем месте. Его должность не синекура; он не допустит, чтобы кого-либо предали земле без письменного на то разрешения; он отвечает за своих мертвецов; среди огромного пространства он укажет вам клочок земли в шесть квадратных футов, где вы схороните когда-нибудь все, что вы любите, все, что ненавидите, — любовницу или родственника. Да, твердо запомните, что все чувства в Париже находят свое завершение здесь, у этого домишки, и подчинены административным распоряжениям. У этого человека имеются списки его мертвецов, мертвецы размещены не только по могилам, но и по папкам. Под его началом находятся сторожа, садовники, могильщики и помощники. Он — лицо значительное. Люди, в слезах приходящие сюда, далеко не сразу могут его лицезреть. Он появляется на сцене только в исключительных случаях, когда перепутают покойников, или хоронят убитого, или отроют труп, или же воскреснет какой-нибудь мертвец. В его помещении стоит бюст ныне здравствующего короля, и, вероятно, бюсты прежних царственных и полусарственных особ хранятся там в каком-нибудь щкапу — так сказать, миниатюрном Пер-Лашезе, обслуживающем революции. Словом, это общественный деятель, превосходный человек, примерный отец и примерный супруг — как можно утверждать не в порядке надгробного слова. Но ему пришлось наблюдать столько различных чувств у тех, кто идет за похоронными дрогами, столько истинных и лживых слез; ему пришлось видеть горе в разных обличьях и на разных лицах, видеть шесть миллионов вечных скорбей! И для него горе стало всего лишь камнем в одиннадцать линий толщиной, а площадью в четыре фута на двадцать два дюйма. Ну, а сочувствие — это самая нудная его обязанность, никогда он не может ни позавтракать, ни пообедать, не попав под ливень безутешной скорби. Он добр и нежен во всех других случаях: он будет оплакивать героя какой-нибудь драмы, например г-на Жермейля из «Адретской гостиницы», человека в штанах цвета свежесбитого масла, которого убивает Макер; но настоящие смерти не трогают его окостенелого сердца, мертвецы для него — только цифры, его обязанность — упорядочить смерть. Наконец, раз в три столетия создается такое положение, когда на его долю выпадает великая миссия, и тогда он велик во все часы дня и ночи — во время чумы.

Когда Жаке подошёл к этому самодержавному монарху, тот пребывал в довольно гневном состоянии.

— Сколько раз говорить вам, — кричал он, — чтобы цветы были политы, начиная от улицы Массена и до площади Реньо-де-Сен-Жан-д'Анжели! А вы, олухи царя небесного, и ухом не повели! Тысяча чер...нильниц! А что, если сегодня по случаю хорошей погоды вздумают прийти родственники? Они живьём меня съедят; начнут орать как ошпаренные, наговорят разных ужасов, оклеветают всех нас...

— Сударь, — обратился к нему Жаке, — мы хотели бы знать, где погребена супруга господина Жюля.

— Супруга господина Жюля? Какая именно? — спросил он. — За последнюю неделю у нас было три супруги господ Жюлей... Ах! — перебил он себя, взглянув на ворота. — Вон похоронная процессия полковника де Моленкура, подите-ка кто-нибудь, возьмите у них разрешение... Процессия богатая, что и говорить! — продолжал он. — Скоренько последовал он за своей бабушкой. Бывают же семьи, где все, словно на пари, кубарем скатываются. Уж больно дурная кровь у этих парижан.

— Сударь, — сказал Жаке, трогая его за плечо, — особа, о которой я вас спрашиваю, — супруга господина Жюля Демаре, биржевого маклера.

— А, помню, помню, — ответил он, взглянув на Жаке, — ведь э го на её похоронах

было тринадцать траурных карет и в двенадцати из них сидело по родственнику? И надо же было выдумать такие диковинные похороны, даже мы — и то удивлялись...

— Поосторожнее, сударь! Господин Жюль пришёл вместе со мною, он может вас услышать, ваши речи неуместны.

— Виноват, сударь, вы правы. Извините, я принял вас за наследников... Сударь, — прибавил он, рассматривая план кладбища, — супруга господина Жюля покоится на улице маршала Лефевра, аллея номер четыре, между мадемуазель Рокур, из Французской комедии, и господином Моро-Мальвенном, крупным мясоторговцем; для него заказана гробница из белого мрамора — право же, она будет лучшим украшением нашего кладбища.

— Сударь, — перебил привратника Жаке, — ближе к делу...

— Ваша правда, — согласился тот, оглядываясь по сторонам. — Жан, — крикнул он кому-то из своих подручных, первому, кто попался ему на глаза, — проводите этих господ на могилу супруги господина Жюля, биржевого маклера! Знаете, там, подле мадемуазель Рокур, где ещё бюст стоит!

И оба друга пошли следом за сторожем; но пока они достигли крутой дороги, ведущей к верхней аллее кладбища, свыше двадцати предложений, сделанных медоточивым голосом, пришлось им выслушать от подрядчиков по мраморным, слесарным и скульптурным работам.

— Если сударь пожелает *что-нибудь* соорудить, так мы легко столкнемся о цене...

Жаке постарался охранить своего друга от их речей, ужасных для тех, у кого сердце истекает кровью, и они дошли до могильного приюта г-жи Демаре. Взглянув на свежевскопанную землю, в которую каменщики воткнули веши, чтобы наметить место для каменных столбов решётки, Жюль опёрся на плечо Жаке и, порою подымая в тоске голову, бросал долгие взгляды на тот уголок земли, где пришлось схоронить бранные останки существа, которым он ещё жил.

— Но как же ей здесь плохо! — воскликнул он.

— Да ведь её здесь нет, она в твоей памяти. Послушай, уйдём поскорее с этого отвратительного кладбища, где мертвецы разукрашены, словно женщины для бала.

— А если бы нам её откопать?

— Да разве это возможно?

— Все возможно! — воскликнул Жюль. — Так, значит, я буду с ней здесь... — сказал он, помолчав. — Места хватит и для меня.

Жаке удалось увести его из этого обиталища мёртвых, разделённого бронзовыми решётками и напоминавшего шашечную доску, где по изящным клеткам были размещены могилы, богато оснащённые пальмовыми ветвями, надписями и слезами, столь же холодными, как камни, какие водрузили огорчённые люди, чтобы запечатлеть на них своё горе и свои гербы. Здесь встречаются и меткие изречения, выведенные чёрной краской, эпиграммы на любопытных, блестящие афоризмы, выразительные напутствия, обещания последовать за любимым существом, которые долго не исполняются, претенциозные биографии, мишура, лохмотья, блёстки. Тут — тирсы, там — копья, дальше — египетские урны, кое-где пушки; повсюду эмблемы тысячи профессий; смешение всех стилей — мавританского, греческого, готического; фризы, орнаменты, живопись; урны, гении, храмы; множество поблекших иммортелей и увядших роз. Что за гнусная комедия! Это все тот же Париж, со своими улицами, вывесками, мастерскими, домами, — но Париж, который рассматривается через бинокль, повернутый обратной стороной, Париж микроскопический, Париж, где есть место только теням, лаврам, мертвецам; это весь род людской, но лишённый величия, великий только в своём тщеславии. А затем Жюль увидел расстилавшийся у его ног в длинной долине Сены, между холмами Вожирара, Медона, Бельвиля и Монмартра, настоящий Париж, окутанный голубоватой пеленой дыма, прозрачного в лучах солнца. Он окинул быстрым взглядом сорок тысяч парижских домов и сказал, указывая на улицы, расположенные между Вандомской колонной и золотым куполом Дома инвалидов:

— Вот где отняло её у меня губительное любопытство света, который волнуется и

суетится только для того, чтобы суетиться и волноваться.

В четырех милях от кладбища, на берегах Сены, в скромной деревушке, расположенной на склоне одного из холмов, образующих гористую ограду, внутри которой Париж шевелится, словно младенец в своей колыбели, также разыгралась сцена смерти и похорон, но лишённая всякой парижской пышности, без факелов и свеч, без карет, задрапированных чёрными тканями, без католических молитв, — смерть во всей её суровой простоте. Вот как это было. Поутру к берегу Сены прибило течением тело молодой девушки. Землекопы, садясь в свой углый челнок, чтобы отправиться на работу, увидели его среди тины, в зарослях камыша.

— Смотри-ка, заработали пятьдесят франков, — крикнул один из них.

— Твоя правда, — согласился другой.

И они причалили поближе к утопленнице.

— Хороша была красотка.

— Пойдём заявить кому следует.

И оба землекопа, прикрыв тело своими куртками, пошли к деревенскому мэру, который был очень смущён необходимостью составить протокол по случаю подобной находки.

Слух о происшествии распространился с быстротой телеграфа, характерной для стран, где общественные сношения не знают никаких преград и где злословие, сплетни, клевета и пересуды досужих людей, питающие мир, перелетают с одного перекрёстка на другой. Люди, сбежавшиеся в мэрию, тотчас вывели мэра из затруднения. Вместо протокола об обнаружении мёртвого тела был попросту составлен акт о смерти. Благодаря их усердию в утопленнице была опознана Ида Грюже, корсетница, проживающая на улице Кордри-дю-Тампль, № 14. Вмешались следственные власти, пришла мать покойной, вдова Грюже, с последним письмом своей дочери. Под стон плачущей матери какой-то врач установил, что смерть последовала от удушья, от прилива венозной крови к лёгким, и этим все было сказано. Следствие было закончено, разъяснения даны, и в шесть часов вечера полиция разрешила предать земле тело гризетки. Местный священник не позволил внести покойницу в церковь и отказался молиться за неё. И тогда Ида Грюже была завёрнута какой-то старой крестьянкой в саван, а затем четыре человека снесли её в грубо сколоченном сосновом гробу на кладбище, куда сопровождало её несколько любопытных крестьянок, не перестававших обсуждать эту смерть с удивлением и жалостью. Вдову Грюже заботливо удержала у себя какая-то старая дама, помешав ей принять участие в похоронах дочери. Человек, выполнявший тройные обязанности — звонаря, церковного служителя и приходского могильщика, вырыл могилу на деревенском кладбище, занимающем полдесятины позади церкви, — это хорошо всем знакомая классическая церковная постройка с четырехугольной башней под шиферной крышей, поддерживаемая снаружи грановитыми контрфорсами. Позади, за полукруглой стеной церковного клироса, находился погост, обнесённый развалившейся оградой, — поле, покрытое холмиками; там не высились мраморные гробницы, не звучали торжественные соболезнования, но зато уж каждая бороздка орошена была слезами искренней скорби — только, впрочем, не у могилы Иды Грюже. Тело её зарыли в далёком углу кладбища, поросшем репейником и высокой травой. Когда гроб был опущен в землю этого погоста, столь поэтического в своей простоте, вскоре среди сумрака наступающей ночи у ямы остался лишь могильщик. Засыпая землёй могилу, он время от времени останавливался и глядел на дорогу за оградой; на минуту, опершись на свой заступ, он засмотрелся на Сену, принёсшую ему это тело.

— Бедная девушка! — внезапно воскликнул кто-то появившийся у могилы.

— Вы меня напугали, сударь! — сказал могильщик.

— Отпевали покойницу в церкви?

— Нет, сударь. Приходский священник отказался. Она у меня — первая не из нашего прихода. Тут все между собой знакомы. А что, сударь... Эге! да его и след простыл.

Прошло ещё несколько дней, и к г-ну Демаре явился кто-то, одетый во все чёрное, и, не сказав ни слова, поставил в спальне его жены большую порфиновую урну. Жюль прочёл на

ней следующую надпись:

INVITE LEGE,
CONJUGI MOERENTI
EILIO LAE CINERES RESTITUIT,
AMICIS XIIJUVANTIBUS,
MORIBUNDUS PATER.¹

— Что за человек! — воскликнул Жюль сквозь слезы. Биржевому маклеру хватило одной недели, чтобы выполнить все поручения жены и привести в порядок дела; он продал свою должность брату Мартена Фалейкса и уехал из Парижа, а полиция все ещё обсуждала, позволительно ли гражданину распоряжаться останками своей жены.

Кому не случалось на бульварах Парижа, на перекрестке улиц или под аркадами Пале-Рояля — словом, в любом месте, куда забрасывает случай, — встречать существа, мужчину или женщину, один вид которых возбуждает в уме тысячу смутных мыслей! При виде такого создания нас сразу поражает странная внешность, свидетельствующая о бурной жизни, или любопытный общий характер его жестов, выражения лица, походки и одежды, или какой-то особенно глубокий взгляд, или еще что-то другое, не поддающееся определению, неясное для нас самих, но способное внезапно взволновать нас и потрясти. Проходит день, и другие мысли, другие парижские образы вытесняют мимолетное впечатление. Но если мы продолжаем встречать этого же самого человека, — либо потому, что он проходит в один и тот же час по одним и тем же улицам, как чиновник мэрии, отсиживающий восемь часов за брачными записями; либо потому, что он бродит среди толпы гуляющих, подобно тем людям, которые как бы являются неотъемлемой частью парижских улиц и украшают своим присутствием все общественные места, первые представления и рестораны, — в таком случае это существо водворяется в нашей памяти, как роман, из которого мы прочли только первый том. Нас охватывает искушение расспросить этого незнакомца, сказать ему: «Кто вы? Почему вы слоняетесь здесь? По какому праву носите вы плиссированный воротник, трость с набалдашником из слоновой кости, старомодный жилет? К чему эти синие очки с двойными стеклами? И почему галстук у вас — как у щеголей XVIII века?» Одни из этих блуждающих существ принадлежат к категории богов-Термов, они ничего не говорят сердцу, они здесь пребывают — вот и все; зачем? — никто не знает; они похожи на те фигуры, которые служат скульпторам для изображения Четырех времен года, Торговли и Изобилия. Другие из них — отставные стряпчие, старые торговцы, дряхлые генералы; ходят, шагают, а кажется, что они неподвижны. Подобные деревьям с наполовину обнаженными корнями, стоящим на берегу реки, они как будто находятся вне потока парижской жизни, вне его буйной и юной толпы. Никак невозможно решить: то ли забыли их похоронить, то ли они восстали из могил; они пришли почти в состоянии ископаемых. Один из таких парижских Мельмотов с некоторых пор стал появляться среди чинной и серьезной толпы, заполняющей в погожий денек пространство между южной оградой Люксембургского дворца и северной оградой Обсерватории, местность ничем не примечательную, как бы нейтральную зону Парижа. В самом деле, это уже не Париж, и в то же время это еще Париж. Местность имеет что-то общее с площадью или улицей, с бульваром, с городским укреплением, с садом, с проспектом, с проезжей Дорогой, с провинцией и со столицей, — действительно, со всем этим здесь есть какое-то сходство, и все-таки здесь нет ни того, ни другого, ни третьего: это пустыня. Вокруг такой неопределенной местности возвышаются Воспитательный дом, Бурб, больница Кошена, Южный госпиталь, странноприимный дом Ларошфуко, институт глухонемых, больница Валь-де-Грас — словом, все пороки и все горести Парижа находят там пристанище, а для полноты этого собрания богоугодных заведений наука основала здесь Общество по

¹ Наперекор законам, скорбящему супругу прах своей дочери, при содействии двенадцати друзей, возвращает умирающий отец (лат.).

изучению приливов и отливов и Бюро долготы; г-н де Шатобриан учредил дом призрения Марии-Терезии, а кармелитки воздвигли монастырь. Великие события жизни возвещаются в этой пустыне колокольным звоном, который непрестанно раздаётся и ради родильницы, и ради новорожденных, и ради изнуренного развратника, и ради умирающего рабочего, и ради набожной девственницы, и ради зябнувшего старца, и ради заблуждающегося гения. Немного подалее, в каких-нибудь двух шагах — кладбище Монпарнас, куда ежечасно направляются жалкие похоронные дроги из предместья Сен-Марсо. Эта именно площадь, господствующая над Парижем, и была завоевана для игры в шары несколькими седыми стариками, преисполненными добродушия, славными людьми, сохранившими в себе черты наших предков, обладателями совершенно особенных физиономий, ни с чем не сравнимых — разве что с лицами окружающей их толпы зрителей, своего рода передвижного театрального зала, следующего за ними повсюду. Какой-то человек, с недавних пор поселившийся в этом пустынном квартале, неизменно присутствовавший здесь при каждой игре в шары, мог, бесспорно, быть сочтен самой замечательной фигурой среди этих собравшихся в кучки людей, которые, если позволительно приравнять парижан к различным классам зоологии, принадлежали к разряду моллюсков. Новый пришелец неотступно следовал, словно привязанный невидимой нитью, за маленьким шариком, свинкой, служащим точкой прицела для игроков и сосредоточивающим на себе весь интерес игры; когда свинка останавливалась, незнакомец прислонялся к дереву и наблюдал с тем вниманием, с каким собака следит за жестами своего хозяина; он смотрел, как шары летят по воздуху или катятся по земле. Вы могли бы принять его за какого-то фантастического гения свинки. Никогда не произносил он ни единого слова, и игроки в шары, самые фанатичные из сектантов всех религий, никогда не допытывались о причине его упорного молчания; только несколько умников зачислило его в глухонемые. В случаях, когда требовалось определить разницу расстояний между шарами и свинкой, безошибочным мерилом становилась трость незнакомца — игроки брали её из ледяных рук старца, не говоря ему ни слова, не приветствуя его хотя бы дружелюбным кивком головы. Предоставление своей трости было словно его обязанностью, которую он молчаливо признавал. Когда вдруг начинался ливень, он оставался около свинки, как невольник, приставленный к шарам, несущий стражу у незаконченной партии. На дождь он обращал внимание так же мало, как и на хорошую погоду, — подобно игрокам, и он представлял собою некое промежуточное звено между тупым парижанином и смышлёным животным. Бледный и расслабленный, он притом был небрежно одет и, по рассеянности, нередко приходил с непокрытой головой, — тогда можно было видеть его поседевшие волосы и широкий череп, лысый и жёлтый, похожий на колесо, вылезавшее из прорванных штанов бедняка. Это было какое-то отупевшее существо, без мысли во взгляде, без твёрдости в походке; он никогда не улыбался, никогда не поднимал глаз к небу, всегда глядел вниз и, казалось, постоянно что-то искал на земле. В четыре часа за ним приходила какая-то старая женщина и отводила его куда-то, таща за руку, как девушка тащит в стойло козу, которая упрямо продолжает щипать травку. На старика было страшно смотреть.

Однажды, в полуденное время, Жюль, сидя один в дорожной карете, быстро проехал по Восточной улице и завернул на площадь Обсерватории в ту минуту, когда этот старик, прислонившись к дереву, отдавал свою трость игрокам, горланявшим вокруг него в безобидном споре. Лицо старика показалось Жюлю знакомым, и он хотел было остановить карету, но карета и сама вдруг остановилась. Дело в том, что экипаж, теснимый тележками, не мог свернуть ни вправо, ни влево, а кучер не решился просить возбуждённых игроков пропустить его, ибо слишком для этого уважал народные волнения.

«Это он!» — подумал Жюль, узнав наконец в этой человеческой развалине Феррагуса XXIII, предводителя деворантов.

— Как он любил! — задумчиво прошептал Жюль, а затем крикнул кучеру: — Ну, пошёл!

Париж, февраль 1833 г.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «История тринадцати»](#)